**ПЕТР ПЕРВЫЙ**

РОССИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ

          В тысячелетнем ряду носителей русской верховной власти Петр Первый занимает совсем особое положение. Носители этой власти, начиная с Олега и кончая Николаем Вторым, дали чрезвычайно немногих людей с ярко выраженной индивидуальной линией в политике. Если исключить восемнадцатый век, с его надломом русской монархической идеи, и его дворцовыми переворотами, цареубийствами и преторианством — то можно сказать, что русская история выработала совершенно определенный тип «Царя-Хозяина», — расчетливого и осторожного «собирателя земли», ее защитника и устроителя, чуждого каких бы то ни было авантюрных порывов, — но и чуждого той индивидуальной яркости, какую дает в политике авантюра. Русские цари были очень плохими поставщиками какого бы то ни было материала для легенд. И даже для тех исторических лозунгов и афоризмов, которые обычно редактируются новейшими летописцами и историками. Это был очень длинный ряд высокого качества средних людей. Инерция чудовищных пространств и чудовищной ответственности, как бы сковывала их личные порывы и, может быть, трудно найти в истории еще один пример, где личная и по закону ничем не ограниченная власть так сурово отказывалась бы от личной политики и работала бы в рамках такого железного самоограничения. Менялись столицы, менялись династии, ломался социальный строй страны, возникали, падали, снова возникали и снова падали ее враги, росла ее территория, но задачи верховной власти оставались, по существу своему, теми же самыми. И они очень хорошо укладывались в формулировку: «державный хозяин земли русской».   
          Если искать в истории принципиальную противоположность русской монархии, то носителем этой противоположности будет не республика — это будет бонапартизм с его пышной фразой, с его театральным жестом, с его вождизмом и с его полной беспощадностью к народу и к стране республика такой беспощадности все-таки не знает. Бонапартизм рассматривает народ, как боевого коня — и превращает его в клячу, как превратили Францию два Наполеона — Первый и Третий. Державный Хозяин есть прежде всего хозяин — с хозяйским глазом и хозяйским расчетом, — прозаическим, бережливым, иногда и скопидомским. Александр Невский вел такую же расчетливую, скопидомскую политику по отношению к Орде, как Иван III по отношению к удельным князьям или Николай I по отношению к дворянству. Жизнь огромного народа ставила свои очередные задачи — и эти задачи решались с той осторожной мудростью, какая дается сознанием столь же огромной ответственности. Иногда это решение казалось слишком медленным, но оно всегда оказывалось окончательным. Мы сейчас живем в период какой-то судорожной решимости, и мы, может быть, больше, чем другие поколения истории можем оценить сомнительные преимущества эпилептических движений в политике. Сейчас все, или почти все, пытаются в двадцать четыре счета решить все вопросы на тысячу лет вперед — ни копейки меньше. А иногда больше: большевизм пытается решить их навсегда.   
          Тем последующим деятелям мировой политики, которые будут осторожнее уже по одному тому, что мир обеднеет в совершенно чудовищной степени, — придется забыть о тысячелетних планах и работать по системе Александра Невского или Николая Первого и расхлебывать кашу, заваренную их эпилептическими предшественниками. Это будет медленная и очень прозаическая работа. Для того, чтобы погубить половину конского поголовья России и уничтожить половину ее промышленных лесов — достаточно лозунга, нагана и активиста. Но для того, чтобы снова вырастить этих коней, для того, чтобы снова дать вырасти лесам — потребуются десятилетия совсем прозаической работы. Той работы, которая не дает никаких тем для легенды и после которой не остается ни Вандомских колонн, ни гигантов на бронзовых, а также и на прочих, конях.   
          По странному свойству человеческой психологии — великие памятники воздвигаются именно великим поджигателям мира. Алексею Михайловичу, который вытащил Россию из дыры (или при котором Россия вылезла из дыры) не поставлено ни одного памятника. Наполеон стал легендой, сладчайшим воспоминанием умирающей Франции, которая умиранием обязана преимущественно ему — этому «Великому Корсиканцу» — даже и не французу. Россия больше всего памятников воздвигла именно Петру. И бронзовых и, тем более, литературных.   
          Петр является необычайно ярким исключением в ряду русских великих князей, потом царей, потом императоров: это был как бы взрыв индивидуальности на тысячелетнем фоне довольно однотипных строителей, хозяев и домоседов. Он, конечно, действовал на воображение. Несколько дальше мы увидим, как это воображение подчинило себе элементарнейшие логические способности даже и таких объективных историков, как Ключевский. Эпоха Петра, как бы ее ни оценивать, является крутым и почти беспримерным в своей резкости переломом в русской истории. Со значением этого перелома можно сравнивать только битву при Калке и Октябрьскую революцию. Он определил собою конец Московской Руси, то есть целого исторического периода, со всем тем хорошим и плохим, что в ней было, и начал собою европейский, петровский, петербургский или имперский период, кончившийся Октябрьской революцией. И в центре этого перелома стоит личность Петра.

ЛИЧНОСТЬ И МАССА

          Вопрос о личной роли Петра в ходе русской истории более или менее автоматически приводит нас к несколько метафизическому вопросу о роли личности в истории вообще. На эту тему написано много тысяч томов. Марксизм, как известно, начал с полного отрицания роли личности и кончил обожествлением вождя и отца народов — в таких масштабах и в таком стиле, какие были известны только древним монархиям востока — вот вроде ассирийской. Наша народническая теория (Лавров), впервые сформулировавшая понятия «критически мыслящей личности», творящей историю вопреки воле масс, ни одной «личности» так и не выдвинула. Современная нам Европа капитулирует перед более или менее безличными англо-американскими демократиями. Моя собственная теория, вероятно, уже известная читателям, относится к культу личности довольно мрачно: «гений в политике — это хуже чумы».   
          Повторяю еще раз: вопрос о личности и о массе поставлен методологически неправильно. И он может быть решен только в том случае, если мы и «личности» и «массе» уделим какой-то процент участия в общих наших делах, — процент, который в разных случаях будет иметь разную величину. В науке роль «массы» будет равна приблизительно нулю. В текущей политике — личность может натворить очень много, но длительные исторические процессы сводят все-таки ее роль к категории исторических случайностей, которые выравниваются последующим ходом событий. Однако, на каком-то данном отрезке истории личность может сыграть колоссальную роль. Ленин, организовавший Октябрьское восстание, вопреки мнению всех остальных членов Центрального Комитета партии и выигравший это восстание, может служить классическим примером подчинения «истории» воле «вождя». Но «дело Ленина» сейчас еще не вполне закончено. «Санкт-Петербургский» период русской истории можно считать конченным. Не пора ли подсчитывать прибыли и убытки, от него происшедшие?   
          В. Ключевский, который вообще избегает высокопарных, формулировок, считает Петра «одной из тех исключительно счастливо сложенных натур, какие, по неизведанным еще причинам, от времени до времени появляются в человечестве» — к этой формулировке я буду придираться несколько позже. Почти все остальные историки, — в том числе и советская официальная история СССР, — считают Петра гением — просто и безоговорочно. Ключевский, сравнивая Петра с Александром Македонским, отдает, впрочем, предпочтение последнему. Это предпочтение мне кажется мало обоснованным: дело Александра рухнуло на другой день после его смерти. Дело Петра продержалось, как-никак, двести лет. Еще менее удачно сравнение Петра с Наполеоном: «дело» Наполеона не дожило даже и до смерти корсиканского героя: Наполеоновская Франция была оккупирована союзниками, и сам Наполеон кончил свои дни не столько изгнанником, сколько арестантом. Петр был счастливее своих конкурентов по гениальности: Россия двести лет жила под звездой его гения, и даже большевики пытаются найти моральное подкрепление своей политике в славных традициях Петра.   
          Зрелище получается, поистине, занятное: Екатерина Вторая и теоретик русского монархизма Л. Тихомиров — с одной стороны, Сталин и теоретики революции Маркс и Энгельс, — с другой, трогательно сходятся в оценке петровской гениальности. Какой другой деятель мировой истории может похвастаться столь разношерстными почитателями!   
          К вопросу о гениальности Петра я вернусь несколько ниже. Здесь нам нужно установить тот факт, что вся совокупность, так называемых, петровских реформ оставила очень глубокий след в истории России. Результаты этих реформ мы чувствуем и расхлебываем еще и сегодня. Очень трудно предположить, чтобы ближайшие поколения смогли бы эмансипироваться от политических последствий Петра и еще менее вероятно, чтобы историческая оценка этих последствий привела бы нас хоть к кое-какому единодушию. Если и двести лет после своей смерти человек продолжает оставаться живым символом живых политических интересов и страстей, то уж это одно свидетельствует об огромности сдвига, им произведенного, или им символизируемого. Можно утверждать, что ни в одной стране, ни один человек не оставил таких глубоких — и таких спорных следов своей работы, какие оставил в России Петр.   
          Что мы должны отнести на долю его гениальности и что на долю исторического процесса? Думаю, что аптеки, в которой могли бы быть взвешены отдельные составные части этой исторической микстуры, еще не существует. Думаю также, что в личной роли Петра — огромную, решающую роль сыграло его право рождения, никакого отношения к гениальности не имеющее. Наши историки как-то не заметили и не отметили того факта, что Петр был не только царем, он был царем почти непосредственно после Смуты, то есть после той катастрофы, когда прекращение династии Грозного привело Россию буквально на край гибели и когда только восстановление монархии поставило точку над страшными бедствиями гражданской войны, осложненной иностранной интервенцией. Московские люди семнадцатого века еще помнили — не могли не помнить — всего того, что пережила страна в эпоху междуцарствия. Распря Софии с Петром грозила тем же междуцарствием — не оттого ли вся Москва так сразу, «всем миром», стала на сторону Петра? И не оттого ли вся Россия, при всяческих колебаниях булавинских бунтов и староверческой пропаганды, все-таки, в общем поддерживала Петра? Петр для многих, очень многих, — казался чуть ли не Божьей карой. Но был ли лучшим выходом Булавин, — с его новыми ворами? Или Софья с повторением семибоярщины? Или гражданская война в Москве, с повторением всей смутной эпопеи совсем заново?   
          Петр для очень многих казался плохим — совсем плохим царем. Но самый плохой царь казался, все-таки, лучше самой лучшей революции. Несколько неожиданным оказался тот факт, что в Петре совместилась и монархия, и революция, но это совмещение современники Петра едва ли успели заметить: революционные перемены Петра нарастали постепенно — от случая к случаю — «рождались войной», как говорят нынешние историки... Они никогда не фигурировали в форме тех «программ», какие предлагали обездоленному человечеству его такие лучшие друзья, как Ленин и Гитлер. Все это вырастало постепенно: сначала потешные, — почему бы и нет? Потом поход в Азов, — Азов для Москвы был очень нужен. Потом стройка флота, — флот стали строить и до Петра. Потом войны со Швецией — на Швецию Москва нацеливалась очень давно. Для войны нужна регулярная армия, — ее стал заводить уже Грозный. Потом столица в Петербурге, — но и без Петербурга Москва Петра вообще видывала только мельком — и был ли он в Петербурге или околачивался по заграницам — для Москвы было безразлично. Пьянство, табак, немецкие кафтаны, антирелигиозное хулиганство оценивались сначала, как ребячья блажь: «женится — остепенится». Но и женитьба не остепенила.   
          Во всяком случае, в «революции» Петра отсутствовал самый основной революционный элемент: насильственный захват власти, отсутствовал тот обычно весьма четкий перелом, который определяет «старый режим» от его революционного наследника. В лице Петра «революцию» производил сам «старый режим» и производил ее а) законными средствами и б) с патриотической целью. И, наконец, революционный оттенок петровские деяния получили уже только впоследствии — во всей их сумме. Современникам она казалась нарастающим рядом безобразий и неудач, но никак не революцией. И петровская Россия. несмотря на резкое осуждение деяний и методов Петра — на «контрреволюцию» все-таки не пошла. Это объясняет прижизненный успех петровских реформ. Их посмертный успех был закреплен новым соотношением социальных сил, о каком Петр, разумеется, и понятия не имел.   
          Таким образом, «личная» роль Петра в истории объясняется прежде всего рядом внеличных факторов. Тем, что Петр родился царем, тем, что он родился царем после междуцарствия и тем, что он вступил на престол в тот момент, когда Россия и без него уже перестраивалась и когда она, в частности, от чисто оборонительной политики переходила к наступательной. В эти объективные факторы резко вклинились личные свойства Петра. И именно личные свойства придали реформе характер революции. Не будь этих личных свойств, история петровских дел и деяний имела бы, вероятно, намного менее спорный характер, чем тот, который она имеет сейчас.

ЛИЧНОСТЬ ПЕТРА

          Ни одному деятелю русской истории не повезло так, как повезло Петру. Ни одно имя не обросло таким количеством литературы, легенд, апокрифов и вранья. Сейчас, читая даже такого объективного и спокойного историка, как Ключевский, невольно приходишь в некоторое изумление: Ключевский делает вид, что он совершенно не знает целого ряда элементарнейших фактов и в нашей, и в европейской истории, и что для него совершенно не обязательны элементарнейшие законы логики: его частные выводы и оценки находятся в вопиющем противоречии с его же общими оценками и выводами. Ниже я попытаюсь доказать это документально. Еще более противоречива общая литературная оценка Великого Преобразователя.   
          Едва ли стоит говорить об оценке Петра со стороны его соратников. И, если Неплюев писал что «Петр научил нас узнавать, что и мы — люди», а канцлер Головин, что «мы тако рещи из небытия в бытие произведены», то это просто придворный подхалимаж, нам нынче очень хорошо известный по современным советским писаниям об отце народов. Производить московское государство «из небытия в бытие» и убеждать москвичей, что и они — люди, не было решительно никакой надобности: Москва считала себя третьим Римом, «а четвертому не быти», а москвич считал себя последним, самым последним в мире оплотом и хранителем истинного христианства. Комплексом неполноценности Москва не страдала никак. И петровское чинопроизводство «в люди» москвичу решительно не было нужно.   
          Дальше идут оценки, к которым понятие подхалимажа никак неприложимо. Их основной тон — почти на столетие — дал Пушкин. Его влюбленность в Петра и в «дело Петрове», и в «град Петра» проходит красной нитью сквозь все пушкинские творчество. Пушкин не видит никаких теневых сторон. Только «начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни»; дальнейшие дни — дни славы, побед, творимой легенды о «медном всаднике» и о «гиганте на бронзовом коне», который

          ... над самой бездной   
          На высоте, уздой железной   
          Россию вздернул на дыбы...

          «Медный всадник» дал тон, который стал почти обязательным — тон этот общеизвестен. Менее известен толстовский отзыв о «Великом Преобразователе». По политическим условиям старой России он, конечно, опубликован быть не мог.   
          Пушкин слал свое пожелание

          «Красуйся, град Петра, и стой   
          Неколебимо, как Россия»

           — а Достоевский пророчествовал: «Петербургу быть пусту». П. Милюков рисовал Петра, прежде всего, как растратчика народного достояния, а Соловьев видел в нем великого вождя, которого только и ждала Россия, уже собравшаяся в какой-то новый, ей еще неизвестный, путь. Мережковскому в Петре мерещился его старый приятель — Антихрист. Алексей Толстой (советский) в своем «Петре Первом» пытается канонизировать Сталина, здесь социальный заказ выпирает, как шило из мешка: психологически вы видите здесь сталинскую Россию петровскими методами реализующую петровский же лозунг: «догнать и перегнать передовые капиталистические страны». Сталин восстает продолжателем дела Петра, этаким Иосифом Петровичем, заканчивающим дело великого преобразователя. Официальная советская словесность возвращается к пушкинскому гиганту, — а «мятежи и казни» приобретают, так сказать, вполне легитимный характер: даже и Петр так делал, а уж он ли не патриот своего отечества! Великим патриотом считал Петра уже Чернышевский — духовный отец и теоретический изобретатель сегодняшних колхозов. Маркс и Энгельс также считали Петра «истинно великим человеком». Несколько осторожнее, но в том же роде выражался и Ленин. Официальная история СССР, можно сказать, классически объясняет милюковскую критику деяний Петра: «вождь российской буржуазии Милюков старался накануне революции 1905 года в России вылить всю ненависть своего класса ко всему новому, взрывающему старое». (Подчеркнуто мною.  — И. С.).   
          Оценивается по-разному даже и внешность Петра. Академик Шмурло так живописует свое впечатление от петровского бюста работы Растрелли:   
          «Полный духовной мощи, непреклонной воли повелительный взор, напряженная мысль роднят этот бюст с Моисеем Микель Анджело. Это поистине, грозный царь, могущий вызвать трепет, но в то же время величавый, благородный».   
          На той же странице, той же книги того же Шмурло приведен и другой отзыв — отзыв художника — академика Бенуа о гипсовой маске, снятой с Петра в 1718 году:   
          «Лицо Петра сделалось в это время мрачным, прямо ужасающим своей грозностью. Можно представить себе, какое впечатление должна была производить эта страшная голова, поставленная на гигантском теле, при этом еще бегающие глаза и страшные конвульсии, превращающие это лицо в чудовищно фантастический образ», — о «благородстве» Бенуа не говорит ничего.   
          Разноголосица, как вы видите сами, совершенно несусветная. На ее крайних точках стоят два мнения, категорически противоположные друг другу: мнение величайшего поэта России и мнение величайшего писателя. Эти мнения, конечно, непримиримы никак. Где-то посередине, между этими непримиримостями поместилось поистине умилительное мнение Ключевского:   
          «Петр, по своему духовному складу, был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их...»   
          Да углубит Господь Бог понимательные способности наших историков. И прошлых, и, в особенности, будущих!   
          Об иностранных оценках я не буду говорить. Они в общем складываются довольно однотипно. Их лучшим выражением явятся, пожалуй, довольно длинные стишки князя Вяземского, выгравированные на памятнике Петру в Карлсбаде. На гигантской скале, возвышающейся над немецким курортом, воздвигнут огромный бронзовый бюст Петра и на этом бюсте — стихи — в русском оригинале и в немецком переводе. Стишки начинаются так:

          «Великий Петр. Твой каждый след   
          Для сердца русского есть памятник священный...»

          Для немецкого — тоже. Именно по священным следам Петра потекли русские денежки во всякие Карлсбады и Мариенбады, построенные в основном за наш счет. И — еще за счет наших собственных курортов. Немцы смотрят и искренне умиляются: вот это был клиент! Вот он-то «прорубил окно в Европу». И в это окно русское барство понесло русские рубли, выколоченные из русского мужика. Экономическая база исторической оценки построена прочно.

\* \* \*

          Вот вам, значит, «суд истории», судебное заседание длилось 200 лет. Я не питаю решительно никаких иллюзий насчет того, что будущие присяжные заседатели истории, просидев еще двести лет, вынесут какой-нибудь более вразумительный приговор. Но бумаги просижено будет много. Наш историк профессор Виппер в своих книгах несколько раз возвращается к теме об этом суде и пытается доказать законность относительности всякой исторической оценки. Эта оценка — меняющаяся и противоречивая — с его точки зрения есть законный «разрез» — тоже точка зрения, с которой наблюдают события историки разных эпох, разных классов и разных политических течений. Из необозримого количества исторических фактов, люди выбирают те, какие им удобны и угодны и замалчивают те, какие им неугодны или неудобны. Совсем так, как делал Щедринский аблакат: «Я беру ту статью, которая гласит и тую статью я пущаю, — а которая не гласит, так я тую статью не пущаю».   
          Проф. Виппер приводит и ряд красноречивых примеров чрезвычайно либерального обращения со следственными материалами исторического суда. Но если мы, по примеру профессора Виппера, признаем такое обращение законным, то где мы проведем границу, отделяющую историю от печатания фальшивых документов? Вот ведь по поводу того же Петра немцы в 1941 году опубликовали в своей печати «завещание Петра Великого» — не догадавшись справиться в своей же энциклопедии Майера, где это завещание было названо фальшивкой и где было подробно сказано, как эта фальшивка была состряпана по заказу Наполеона I. Завещание, разумеется, носило специфический характер — согласно условиям заказа: Наполеон как раз собирался воевать с Россией и ему надо было исторически доказать, что Россия — по совету Петра, — только того и ждет, чтобы разорить и съесть Европу. Немцы проглотили это завещание, даже и не спросившись Майера. Наполеон и Гитлер действовали, по-видимому, по випперовскому рецепту.   
          Возникает, конечно, довольно законный вопрос: а какой же новый «разрез» преобладает у автора этой книги? И какие новые фальшивки будет открывать в ней новый историк, — если эта книга до историков дойдет?   
          О фальшивках я говорить не буду, а «разрез», конечно, есть. Он сформулирован в предисловии: интересы сотен миллионов, которым, кажется, надоедает служить в качестве сырья для экспериментов и кирпичей для постаментов будущих героев и благодетелей человечества. Мне кажется также, что наше поколение, благодарение Богу, заплатив за очередные эксперименты миллионами сорока-пятьюдесятью русских жизней и исковерканными собственными, заслужило право обходиться без постаментов, экспериментов, легенд и вранья. Мы, кроме того, самолично присутствовали при крушении всего «дела Петра» — исчезла петровская империя, исчезла петровская столица — и даже их имена стерли из памяти ленинского потомства: СССР и Ленинград. Исчезла петровская армия, превратившаяся сначала в красную гвардию, потом в красную армию. Исчезло петровское шляхетство. Исчезли даже губернаторы. И товарищ Сталин начал дело европеизации России так, как если бы петровской попытки никогда и в природе не существовало — совсем сызнова: «догнать и перегнать». Так же снаряжал «воровские экспедиции» для кражи спецов и техники, так же звал иностранных варягов — начиная от Маркса и Бела-Куна и кончая японскими инженерами (пришлось брать даже и с востока), так же строил свои сталинские парадизы на тех же костях, на коих были построены петровские. И нам, как мне кажется, должно было бы быть ясно одно: то, что никак не было ясно ни Ключевскому, ни даже Милюкову: если сказку европеизации Сталин начинает совсем сызнова, — это прежде всего значит, что петровская европеизация не удалась. А прошло двести лет. Япония, начавшая свою европеизацию на полтораста лет позже Петра и совсем другими методами, по-видимому, не имеет сейчас никаких оснований начинать эту сказку сызнова. Попытка, значит, удалась.   
          Наши историки, и еще больше наши писатели, действовали по Випперу, а некоторые даже по Соллогубу: «Я беру кусок жизни, грязной и грубой, и творю из нее легенду, ибо я — поэт». Не будем оспаривать право на поэтическое творчество. Но постараемся без него обойтись. И постараемся прежде всего отскрести образ Петра от всех тех легенд, апокрифов и вранья, которыми его так тщательно замазывали на протяжении более, чем 200 лет. Может быть, личные свойства Петра выступят яснее в результате простого сопоставления некоторых, в сущности очень простых и, казалось бы, общеизвестных фактов.

ДВЕ СКАЗКИ

          Самые благожелательные к Петру историки и писатели не скупятся на черные краски, изображая его пьянство и разгул, его беспощадность и его жестокости. И делают это так, как если бы они понятия не имели, что и пьянство, и беспощадность были явлениями эпохи, и при этом, по преимуществу, не русской эпохи. Наши историки, рисуя петровские поездки заграницу — рисуют тогдашнюю Европу в виде этаких мирных благоустроенных земель, состоящих под опекой благопопечительных и благопросвещенных правителей, воспитывающих народы свои не батожьем и пытками, а мерами разумного и нравственного воздействия, — этакий сплошной саардамский парадиз.   
          Исходная точка всех официальных суждений о Петре сводится к следующему: Москва чудовищно отстала от Европы. Петр, — хотя и варварскими методами, — пытался поставить Россию на один уровень с европейской техникой, моралью, общественным бытом и прочее. Официальная точка зрения довоенной России почти ничем не отличается от официальных советских формулировок: родство, по меньшей мере, странное. Приводятся и личные переживания Петра, толкнувшие его на путь реформы: его впечатления в Кокуйской слободе и его наблюдения в Европе. В общей сумме все это можно было бы сформулировать так: варварство, грязь, отсталость Москвы, — и чистота, гуманность и благоустройство Европы. Ключевский так и пишет: «как ни мало внимателен был Петр к политическим порядкам и общественным нравам Европы, он, при своей чуткости, не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и крепнут не кнутом и застенком» — как, дескать, «воспитывалась» Московская Русь. Литературная обработка этой темы достигла своего кульминационного пункта в легенде о саардамском плотнике, восхищенном чистотой, уютом и свободой цивилизованных европейских стран.   
          Описывая европейскую благовоспитанность, историки становятся в тупик перед петровскими антирелигиозными и прочими безобразиями: откуда бы это взялось? Поехал человек в Европу с целью закупки и импорта в Россию всяческой цивилизации и благовоспитанности, а привез такие вещи, за какие двести лет спустя даже и большевики своих воинствующих безбожников по головке не гладили? Я не буду повторять этих вещей: они всем известны — ряд неслыханных кощунств, организованное издевательство над Церковью, беспробудное пьянство, насильственное спаивание людей, ушаты сивухи, которую гвардейцы вливали в горло всяким встречным и поперечным — словом, действительно, черт знает что такое. Откуда бы это? Ответ подыскивается все в том же направлении: этакая широкая, истинно великорусская натура, с ее насмешливостью, необузданностью, широчайшим размахом во всем — в худе, и в добре, и в подвиге, и в безобразии. И тут же делается ссылка на варварское состояние Москвы: «что вы хотите, — варварская страна, варварские развлечения...»   
          Я не историк и в смысле исторической эрудиции никак не могу конкурировать даже с Покровским. Но для того, чтобы увидеть совершеннейшую лживость всей этой концепции — вовсе не нужно быть историком: вполне достаточно знать европейскую историю в объеме курса средних учебных заведений. Даже и этого, самого элементарнейшего знания европейских дел вполне достаточно для того, чтобы сделать такой вывод: благоустроенной Европы, с ее благопопечительным начальством, Петр видеть не мог — и по той чрезвычайно простой причине, что такой Европы вообще и в природе не существовало.   
          Вспомним европейскую обстановку петровских времен. Германия только что закончила Вестфальским миром 1648 г. Тридцатилетнюю войну, в которой от военных действий, болезней и голода погибло три четверти (три четверти!) населения страны. Во время Петра Европа вела тридцатилетнюю войну за испанское наследство, которая была прекращена из-за истощения всех участвующих стран — ибо и Германия, и Франция снова стали вымирать от голода. Маршал Вобан писал что одна десятая часть населения Франции нищенствует и половина находится на пороге нищенства. Дороги Европы были переполнены разбойными бандами — солдатами, бежавшими из армий воюющих сторон, голодающими мужиками, разоренными горожанами — людьми, которые могли снискать себе пропитание только путем разбоя и которых жандармерия вешала сотнями и тысячами тут же на дорогах — для устрашения. Во всей Европе полыхали костры инквизиции — и католической, и протестантской, на которых ученые богословы обеих религий жгли ведьм. За сто лет до Петра приговоров от 16 февраля 1568 года Святейшая Инквизиция осудила на смерть ВСЕХ жителей Нидерландов, и герцог Альба вырезывал целые нидерландские города.   
          В первой половине XVII века нидерландцы принимали участие в Тридцатилетней войне. Сейчас же после ее окончания, они были разгромлены Кромвелем (1652-54), который своим «навигационным актом» начисто ликвидировал голландскую морскую торговлю. Затем последовали две войны с Францией. И, наконец, Нидерланды были втянуты в новую, но по старому бессмысленную войну за испанское наследство.   
          Нидерланды были разорены. Голодные массы на улицах рвали в клочки представителей власти — власть отвечала казнями. Тот саксонский судья Карпцоф, который казнил 20.000 человек, — это только в одной Саксонии! — двадцать тысяч человек, а Саксония была не больше двух-трех наших губерний, помер — совсем перед приездом Петра в ту Европу, которая, по Ключевскому, воспитывалась без кнута и застенка — в 1666 году. Я не знаю имен его наследников и продолжателей — на самого Карпцофа я натолкнулся совершенно случайно — но эти наследники были наверняка. Сколько людей повесили, сожгли или четвертовали они?   
          В Англии, куда Петр направил свои стопы из Саардама, — при одной Елизавете было повешено и казнено другими способами около девяноста тысяч человек. Вся Европа билась в конвульсиях войн, голода, инквизиции и эпидемий — в том числе и психических: обезумевшие женщины Европы сами являлись на инквизиционные судилища и сами признавались в плотском сожительстве с дьяволом. Некоторые местности Германии остались, в результате этого совсем без женского населения.   
          «Европейские народы воспитывались не кнутом и застенками» — говорит Ключевский. Ключевский не мог не знать, что по «Уложению Царя Алексея Михайловича» смертная казнь полагалась за 60 видов преступлений, по современному ему французскому законодательству — за 115, а Петр ввел смертную казнь за двести — это называется «воспитывать без кнута и застенка». Наши историки не могли, конечно, не знать, что наши «застенки» были детской игрушкой по сравнению с западноевропейскими нравами и обычаями. Они не могли не знать, как расправилось шведское правительство с современником Петра — Паткулем, как уже совсем нечеловеческим способом был во Франции в 1757 году казнен отец Дамьен, какая судьба постигла друзей Фридриха — будущего «Фридриха Великого» — казненных четвертованием на глазах юного наследника престола. Да и сам наследник был спасен от судьбы Алексея Петровича только заступничеством иностранных дворов. Так — вот все это называется «воспитанием без кнута и застенка».   
          Застенки были и в Москве. Но вот что пишет об отце Петра — Алексее Михайловиче, посторонний и иностранный наблюдатель — австрийский посол Мейерберг:   
          «Царь, при беспредельной своей власти над народом, привыкшим к полному рабству, ни разу не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь».   
          Оставим пока «полное рабство» на совести барона Мейерберга: для баронских фантазий в Москве, действительно, особого простора не было, а собственные крестьяне барона Мейерберга едва ли пользовались большей свободой, чем московские. Но, вот, царь «не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь» — может быть, изучать политическую педагогику «без кнута и застенка» было бы удобнее в Москве а не в Саардаме?   
          Историки говорят о московской грязи и об европейской чистоте. Процент того и другого — и в Москве, и в Европе сейчас установить довольно трудно. Версальский двор купался, конечно, в роскоши, но еще больше он купался во вшах: на карточный стол короля ставилось блюдечко, на котором можно было давить вшей. Были они, конечно, и в Москве — больше их было или меньше — такой статистики у меня нет. Однако, кое-что можно было бы сообразить и, так сказать, косвенными методами: в Москве были бани и Москва вся — городская и деревенская, мылась в банях, по крайней мере, еженедельно. В Европе бань не было. И сейчас, больше двухсот лет после Петра, бань в Европе тоже нет. Города моются в ваннах — там, где ванны есть, деревня не моется совсем, не моется и сейчас. В том же городке Темпельбурге, о котором я уже повествовал, на пять тысяч населения имеется одна ванна в гостинице. А когда мой сын однажды заказал ванну для нас обоих — он пришел раньше и вымылся, я пришел позже и администрация гостиницы была искренне изумлена моим требованием налить в ванну чистой воды: истинно русская расточительность — не могут два человека вымыться в одной и той же воде!   
          Петр — в числе прочих своих войн — объявил войну и русским баням. Они были обложены почти запретительным налогом: высшее сословие за право иметь баню платило три рубля в год, среднее — по рублю, низшее — по 15 копеек — одна из гениальных финансовых мер, подсказанная Петру его пресловутыми прибыльщиками. Ключевский пишет: «в среднем составе было много людей, которые не могли оплатить своих бань «даже с правежа под батогами». Даже с правежом и под батогами московская Русь защищала свое азиатское право на чистоплотность. На чистоплотность, вовсе неизвестную даже и сегодняшней Европе, не говоря уже об Европе петровских времен.   
          Сказка о сусальной Европе и варварской Москве есть сознательная ложь. Бессознательной она не может быть: факты слишком элементарны, слишком общеизвестны и слишком уж бьют в глаза. И ежели Петр привез из Европы в три раза расширенное применение смертной казни, борьбу с банями, и еще некоторые другие вещи, — то мы имеем право утверждать, что это не было ни случайностью, ни капризом Петра: это было европеизацией: живет же просвещенная Европа без бань? — нужно ликвидировать московские бани. Рубят в Европе головы за каждый пустяк? — нужно рубить их и в Москве. Европеизация — так европеизация!   
          Европеизацией объясняются и петровские кощунственные выходки. Описывая их, историки никак не могут найти для них подходящей полочки. В Москве этого не бывало никогда. Откуда же Петр мог бы заимствовать и всепьяннейший синод, и непристойные имитации Евангелия и креста и все то, что с такою странной изобретательностью практиковал он с его выдвиженцами?   
          Историки снова плотно зажмуривают глаза. Выходит так, как будто вся эта хулиганская эпопея с неба свалилась, была, так сказать, личным капризом и личным изобретением Петра, который на выдумку был вообще не горазд. И только Покровский в третьем томе своей достаточно похабной Истории России (довоенное издание), — скупо и мельком, сообщая о «протестантских симпатиях Петра», намекает и на источники его вдохновения. Европа эпохи Петра вела лютеранскую борьбу против католицизма. И арсенал снарядов и экспонатов петровского антирелигиозного хулиганства был, попросту, заимствован из лютеранской практики. Приличиями и чувствами меры тогда особенно не стеснялись, и подхватив лютеранские методы издевки над католицизмом, Петр только переменил адрес — вместо издевательств над католицизмом, стал издеваться над православием. Этого источника петровских забав наши историки не заметили вовсе.   
          Первоначальной общественной школой Петра был Кокуй, с его разноплеменными отбросами Европы, попавшими в Москву, на ловлю счастья и чинов. Если Европа в ее высших слоях особенной чинностью не блистала, то что уж говорить об этих отбросах. Особенно в присутствии царя обеспечивавшего эти отбросы от всякого полицейского вмешательства. Делали — что хотели. Пили целыми сутками — так, что многие помирали. И не только пили сами — заставляли пить и других, так что варварские москвичи бежали от царской компании, как от чумы.   
          Пили, конечно, и в Москве: «веселие Руси...» Но, если исключить Ивана Грозного, с его тоже революционными методами действия, то о пьянстве в Московском Кремле мы не слышали ничего. Там был известный «чин». И когда московские цари принимали иностранных послов, то царь подымал свой бокал за здоровье послов, и их монархов — но это не было ни пьянством, ни запоем.   
          О состоянии уровня трезвости в современной Петру Европе, у меня, к сожалению, особенных данных нет. Есть случайная отметка москвича, путешествовавшего по Европе и отмечавшего, что, например, немцы «народ дохтуроватый, а пьют вельми зело». «Вельми зело» — указывает на некоторую степень изумления: вероятно, что в Москве пили или только «вельми», или только «зело» — в Германии и вельми, и зело. Но для более позднего периода некоторые свидетельства имеются. Сто лет после Петра — при Александре I наш посол в Лондоне граф Воронцов доносил своему правительству о коронованных попойках, на которых, «никто не вставал из-за стола, а всех выносили». Именно в то же время английский король Георг пришел на свою собственную свадьбу в столь пьяном виде, что не мог стоять на ногах и придворные во время всей церемонии держали его под руки.   
          Пьянствовала ли вся Европа? Ну, конечно, нет. В подавляющем большинстве случаев, массы не имели не только вина, но и хлеба. В братоубийственных феодальных войнах, которые велись руками наемных солдат — население подвергалось грабежу не только со стороны «чужих», но и со стороны «своих». Еще армии Фридриха Великого были бичом для собственного прусского населения. Наемная армия, — наемной армией была и фририховская, — не имела никаких моральных оснований быть боеспособной — отсюда и та палочная дисциплина, которая, к удивлению Фридриха Великого, заставляла солдата бояться капральской палки больше, чем неприятельского штыка. Отсюда та палочная дисциплина в армии, которую и у нас ввел Петр и ликвидировали только Потемкин, Румянцев и Суворов, позже она была восстановлена поклонником Фридриха — Павлом I. В Германии, перед Второй мировой войной, еще били гимназистов. Не было «телесных наказаний» в строгом смысле этого слова, но пощечины практиковались, как самый обычный способ педагогического воздействия. К русским детям, посещавшим германские школы, эта система, впрочем, не применялась. Наши варварские нравы ликвидировали всякое телесное воздействие на школьников уже лет восемьдесят тому назад. И попытки немецких учителей бить по физиономии русских детей — приводили к скандалам: иногда родители приходили скандалить, а иногда и школьники отвечали сами — так что русские варвары были оставлены в покое.   
          Все это было в средней Европе. В южной было еще хуже, в особенности в Италии и Испании — вспомним, что последний случай аутодафе — публичного сожжения живого еретика — относится к 1826-му году. Вспомним и христианские развлечения римских Пап, — театральные спектакли, от которых, по выражению Покровского, краснели соотечественники Рабле — французские дипломаты. Редкий случай дипломатической стыдливости. На этих представлениях актеров слуги схватывали за руки и за ноги и били животом о пол сцены, — так сказать, аплодисменты наоборот...   
          Не нужно, конечно, думать, что в Москве до-петровской эпохи был рай земной или, по крайней мере, манеры современного великосветского салона. Не забудем, что пытки, как метод допроса и не только обвиняемых, но даже и свидетелей, были в Европе отменены в среднем лет сто-полтораста тому назад. Кровь и грязь были в Москве, но в Москве их было очень намного меньше. И Петр, с той, поистине, петровской «чуткостью», которую ему либерально приписывает Ключевский — вот и привез в Москву: стрелецкие казни, личное и собственноручное в них участие — до чего Московские цари, даже и Грозный, никогда не опускались; привез Преображенский приказ, привез утроенную порцию смертной казни, привез тот террористический режим, на который так трогательно любят ссылаться большевики. А что он мог привезти другое?   
          Технику и прочее привозили и без него. Ассамблеи? Нужно еще доказать, что принудительное спаивание сивухой — всех, в том числе и женщин, было каким бы то ни было прогрессом, по сравнению хотя бы с московскими теремами — где москвички, впрочем, взаперти не сидели — ибо не могли сидеть: московские дворяне все время были в служебных разъездах, и домами управляли их жены. Отмена медвежьей травли и кулачного боя? Удовольствия, конечно, грубоватые, но чем лучше их нынешние бои быков в Испании или профессиональный бокс в Америке?   
          Состояние общественной морали в Москве было не очень высоким — по сравнению — не с сегодняшним, конечно, днем, а с началом двадцатого столетия. Но в Европе оно было на много ниже. Ключевский, и иже с ним, не знать этого не могли. Это — слишком уж элементарно. Как слишком элементарен и тот факт, что государственное устройство огромной Московской Империи было неизмеримо выше государственного устройства петровской Европы, раздиравшейся феодальными династическими внутренними войнами, разъедаемой, религиозными преследованиями, сжигавшей ведьм и рассматривавшей свое собственное крестьянство, как двуногий скот — точка зрения, которую петровские реформы импортировали и в нашу страну.   
          Сказка о сусальной Европе и о варварской Москве является исходной точкой, идеологическим опорным пунктом для стройки дальнейшей исторической концепции о «деле Петра». Дальше я постараюсь доказать, как одна легенда и фальшивка, громоздясь на другую легенду и фальшивку, создали представление, имеющее только очень отдаленное отношение к действительности. Это, мне кажется, будет не очень трудно. Значительно труднее — объяснить двухсотлетний ряд «идеологических надстроек» над действительностью, — окончившихся коммунистической революцией. Или, во всяком случае, это объяснение трудно сформулировать с той же наглядностью, с какою можно доказать полнейшее несоответствие петровской легенды самым элементарным и самым общеизвестным историческим фактам.   
          В основе этой легенды лежит сказка о сусальной Европе и о варварской Москве. Эта сказка совершенно необходима, как фундамент для всего остального: если вы откинете этот фундамент — сказки строить будет не на чем: все дальнейшее строительство превращается в бессмыслицу. Тогда придется сказать, что из всей просвещенной Европы, Петру стоило взять технику чугунолитейного дела, которую предшественники великого преобразователя импортировали и без него, — может быть и еще кое-что из технических мелочей, достигнутых всем тогдашним человечеством, от которого Москва столь долго была изолирована, но что со всеми остальными петровскими реформами — не стоило и огорода городить. Но тогда, если вы откинете сусальную Европу, а с нею, следовательно, и благодетельность петровских реформ, тогда рушится весь быт и весь смысл того слоя людей, которые выросли на почве петровской реформы — быт и смысл крепостнического русского дворянства.

ВОПРОС О БЕЗДНЕ

          Следующим — после сусальной Европы — элементом легендарной стройки является вопрос о той бездне, на краю которой стояла Московская Русь и от которой спас ее гений Петра.   
          Теории сусальной Европы и варварской Москвы носили психологический оттенок горькой, но беспощадной объективности: «Что делать? Действительно — Москва отстала чудовищно; действительно, Европа была неизмеримо впереди нее». Это был, так сказать, беспристрастный диагноз, в котором русские чувства просвещенных светил русской исторической науки не играли никакой роли. Теория бездны обрастает даже и патриотической тревогой: если бы не Петр, свалились бы мы все в эту бездну. И, может быть, и России теперь не было бы никакой. Наш знаменитый западник Чаадаев утверждал даже, что без Петра Россию впоследствии завоевал бы Фридрих Великий — это с полутора миллионами прусского населения во времена Петра!   
          Мотив бездны был ярче всего сформулирован Пушкиным: «над самой бездной — на высоте, уздой железной — Россию вздернул на дыбы!»   
          Не будем отрицать ни пушкинского гения, ни пушкинского ума. Но, вот, бросил же он свой знаменитый афоризм о пугачевском бунте: «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Как мог Пушкин сказать такую фразу? Беспощадным было все — и крепостное право, и протесты против него, и подавление этих протестов: расправа с пугачевцами была никак не гуманнее пугачевских расправ — по тем временам беспощадно было все. Но так ли уж бессмысленным был протест против крепостного права? И так ли уж решительно никакого ни национального, ни нравственного смысла Пушкин в нем найти не мог? И это Пушкин, который воспевал «свободы тайный страж, карающий кинжал»? Почему он отказывал в праве на того же «стража свободы», но только в руках русского мужика, а не в руках бунтующего против государственности барина? Почему барский бунт декабристов, направленный против царя, был так близок пушкинскому сердцу и почему мужицкий бунт Пугачева, направленный против цареубийц, оказался для Пушкина бессмысленным? По совершенно той же причине, которая заставила людей конструировать теорию о бездне, перед которой стояла Московская Русь. Эту теорию — в не очень разных вариантах повторяют все наши историки до советских включительно.

\* \* \*

          Постараемся вспомнить основное из того, что сделала Москва перед самым появлением на свет Божий нашего великого преобразователя. Военные заводы строились. Большая половина армии была переведена на так называемый «регулярный строй». Ввозились всякие иностранные специалисты и посылались заграницу русские люди. При Алексее Михайловиче благосостояние московской деревни поднялось до такого уровня, какого оно в послепетровскую эпоху не достигало никогда. Допетровская Москва вела войны удачные и вела войны неудачные, но все эти войны были уже не оборонительными, а наступательными. В войне с Польшей были отвоеваны: Могилев. Витебск и Смоленск. В войне за Прибалтику были завоеваны г. Юрьев, Динабург и московские войска дошли до Риги. В то же самое время воевали и с Крымом — правда, неудачно. Но Малороссия была присоединена, а главный враг России — Польша была при Алексее Михайловиче добита так основательно, что Петр Алексеевич имел — не им самим завоеванную — возможность распоряжаться в Польше, почти как у себя дома.   
          Главным же врагом России была тогда Польша, а никак уж не Швеция. Именно Польша угрожала самым основным национальным интересам России, угрожала ее самостоятельному национальному бытию, и именно с Польшей покончила Москва, а не Петр. Швеция была только соперником в борьбе за балтийские колонии, которые нам, конечно, были нужны, хотя и не как колонии, а как выход к морю. Тот же Ключевский, повторяя пушкинский мотив «бездны», сам же пишет: «война 1654 — 1667 года (Русско-Польская.  — И. С.) окончательно определила господствующее положение русского государства в восточной Европе и с нее же начинается политический упадок Польши». Где же здесь бездна и уж тем более «край бездны»? Еще лучше были дела на Востоке. Правда, Нерчинский договор (1689) остановил русскую экспансию на берегах Амура, но это была только остановка в наступлении, а никак не неудача. Именно при Алексее Михайловиче Грузия пыталась отдаться под протекторат России (царь Темураз), чего люди никак не делают по отношению к государствам, стоящим «на краю бездны». Был ли внутренний край бездны? При Алексее Михайловиче были бунты — так они были и при Петре, и при Екатерине, и при Николае Втором и — уже в неслыханных масштабах — при Ленине-Сталине. Чиновничество крало при Алексее Михайловиче? Так оно — в неизмеримо больших масштабах по свидетельству тех же Соловьевых и Ключевских, крало и при Петре — такого чиновничества, которое не крадет, нет и не было вообще нигде в мире. П. Милюков в своих знаменитых «Очерках русской культуры» очень сладострастно останавливается над отсутствием национального самосознания в Москве и совсем забывает о том, что данная эпоха формулировала национальное сознание почти исключительно в религиозных терминах. Идея Москвы-Третьего Рима — может показаться чрезмерной, может показаться и высокомерной, но об отсутствии национального самосознания она не говорит никак. Совершенно нелепа та теория отсутствия гражданственности в Московской Руси, о которой говорят все историки, кажется, все без исключения. Мысль о том, что московский царь может по своему произволу переменить религию своих подданных показалась бы москвичам совершенно идиотской мыслью. Но эта — идиотская для москвичей, мысль, была вполне приемлемой для тогдашнего Запада. Вестфальский мир, закончивший Тридцатилетнюю войну, установил знаменитое правило quius regio, ejus religio, — чья власть, того и вера: государь властвует также и над религией своих подданных; он католик — и они должны, быть католиками. Он переходит в протестантизм — должны перейти и они. Московский царь, по Ключевскому, имел власть над людьми, но не имел власти над традицией, то есть над неписаной конституцией Москвы. Так где же было больше гражданственности: в quius regio, — или в тех москвичах, которые ликвидировали Лжедимитрия за нарушение московской традиции? Не забудем еще о том, что Алексей Михайлович закрепил крестьянское самоуправление, над которым столько поработал еще и Грозный, создал почти постоянную работу Земских Соборов — изумительную по своей гармоничности и работоспособности русскую «конституцию», что при Алексее Михайловиче были построены первые русские корабли и заведены первые русские театры, газета и прочее. Где же бездна? И от чего Россию, собственно, надо было спасать? Разве от коров, лошадей и овец, которые за время Алексея Михайловича успел накопить московский мужик, а также и от тех реальных экономических свобод, какие успело закрепить за ним варварское московское правительство? В результате петровской реформы эти коровы и эти свободы перешли к помещику: вот тот элемент, который, действительно, до Петра стоял на краю бездны. Он и был спасен — до октября 1917 года...

ВОЕННЫЙ ГЕНИЙ

          Итак, усилиями поколений историков был создан фундамент петровской легенды. Первое: Россия была очень плоха. Второе: Россию надо было спасать. Третье: Петр, при всех его увлечениях и безобразиях, Россию все-таки спас. Признание всяческой гениальности Петра является при этой стройке совершеннейшей логической неизбежностью — вот это был гениальный хирург! И поскольку «спасение России» было в основном достигнуто методом войны, такой же логической неизбежностью является признание военного гения. В вопросе о военной гениальности Петра согласны все историки, несмотря на то, что все они приводят ряд совершенно очевидных фактов, свидетельствующих о полнейшей военной бездарности «великого полководца». Я опять возьму за пуговицу Ключевского.   
          Начало Северной войны он определяет так: «Редкая война даже Россию заставала так врасплох и была так плохо обдумана и подготовлена».   
          А конец войны: «Упадок платежных и нравственных (подчеркнуто мною.  — И. С.) сил народа едва ли окупился бы, если бы Петр завоевал не только Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию и даже пять Швеции».   
          Вот вам, значит, общая характеристика и начала и результата войны: согласитесь сами, что о большой военной гениальности она не свидетельствует. Если перейти к частным характеристикам отдельных, решающих моментов петровской военной деятельности то в них мы, между всем остальным, отметим, в качестве постоянных спутников петровской военной деятельности — два качества Петра — бестолковость и трусость.   
          В августе 1689 года юный Петр — ему тогда было 17 лет — получает в Преображенском известие о заговоре Софии. Сообщение об этой опасности («реальной или воображаемой» — оговаривается П. Милюков) приводит Петра в состояние полной паники. Петр, полуодетый, скачет в Троицкий монастырь. Академик Шмурло пишет:   
          «Прискакав туда, физически измученный, нравственно потрясенный пережитыми волнениями, царь бросается на кровать настоятеля и, разразившись рыданиями, умоляет игумена оказать ему помощь и защиту». В нашей историографии довольно прочно утвердилось мнение, что именно этот перепуг положил начало той эпилепсии, которая потом всю жизнь не оставляла Петра. Не будем подробно разбирать вопроса о том, была ли опасность действительной, Петр принял ее за действительную. Она была воображаемой, и это показал первый же день едва ли существовавшего заговора Софии: она осталась в полнейшем одиночестве. Устраивать еще одно междуцарствие — в Москве не захотел никто.   
          Семнадцатилетние юноши, в особенности русские, очень редко входят в состав того «робкого десятка», в который так стремительно въехал Петр. В нашу милую социалистическую эпоху миллионы юношей, а также даже и девушек стаивали перед столь действительной опасностью, как чекистский наган, — стаивал и я, стаивал и мой сын, — тоже в возрасте 17-ти лет, таких случаев были миллионы и миллионы. Однако, люди не «разражались рыданиями», не впадали в истерику и не приобретали эпилепсии. Если бы все мы были такими же храбрецами, каким был Петр, то ни в России, ни в эмиграции здоровых людей давно бы уж не осталось.   
          Этим первым перепугом можно, вероятно, объяснить многое в личной политике Петра: и зверское подавление стрелецкого мятежа, и собственноручные казни, (*Не следует, впрочем, преувеличивать размаха этих казней: всего выло казнено 1200 человек. Западная Европа, в аналогичных случаях, отправляла на тот свет десятки тысяч. Петр, де, предчувствовал поражение и уехал для подготовки. дальнейших мероприятий. В штабных реляциях маршевых войн для таких случаев была принята несколько иная формулировках «отступили на заранее подготовленные позиции». Объяснение не выдерживает самой поверхностной критики. Поражение было возможно, но никак не необходимо: тот же Ключевский пишет, что «победа шведов была ежеминутно на волосок от беды»... и что «победитель так боялся своих побежденных, что за ночь поспешил навести новый мост.., чтобы помочь им поскорее убраться... Петр уехал из лагеря накануне боя, чтобы не стеснять главнокомандующего-иноземца, и тот, действительно, не стеснялся: первый отдался в плен и увлек за собой и остальных иноземных командиров...»* — И.С.) и Преображенский приказ, и вечный панический страх Петра перед заговорами. Иван Грозный, который, при всей своей свирепости, был все-таки честнее Петра, признавался прямо, что после восстания 1547 года, истребившего фамилию Глинских, он струсил на всю жизнь: «и от сего вниде страх в душу мою и трепет в кости мои». Застенки Грозного в такой же степени определялись страхом, как и застенки Петра. Но Петровский перепуг имел и некоторые военные последствия.   
          Вспомним Нарву. Петр, которому было уже не семнадцать лет, и который был уже взрослым человеком — ему было 28 лет, повел свою тридцатипятитысячную армию к Нарве. «Стратегических путей не было, по грязным осенним дорогам не могли подвезти ни снарядов, ни продовольствия... Пушки оказались негодными, да и те скоро перестали стрелять из-за недостака снарядов...» (Ключевский).   
          Узнав о приближении восемнадцатилетнего мальчишки Карла с восемью тысячами, Петр повторяет свой, уже испытанный прием: покидает нарвскую армию, как одиннадцать лет тому назад покинул свои потешные войска, — а потешных у него по, тем временам бывало до тридцати тысяч, София же сконцентрировала против них триста стрельцов. Историки объясняют бегство Петра его гениальной предусмотрительностью:   
          Почему, собственно, попал в главнокомандующие этот иноземец, граф де Круа, мелкий проходимец, служивший «в семи ордах семи царям», и нигде и ничем себя не проявивший? Впоследствии он помер в долговой тюрьме в Ревеле, и его тело, за неплатеж долгов, было, по милому обычаю того времени, выставлено на показ... Почему не был назначен Головин? Почему не был назначен Шереметьев? Вероятно, просто потому, что в момент переполоха подвернулся именно Круа. И, наконец, если Петр, видя неустройство своей армии, был убежден в неизбежности поражения, то почему он не попытался отвести эту армию на какие-то другие — пусть и не очень «подготовленные» — позиции? Петр сделал точь-в-точь то, что он проделал в ночь на 8-ое августа 1689 года: бросил все на произвол судьбы и панически бежал. Как бы ни насиловать факты, и как бы ни притягивать за волосы официозно благолепные объяснения, ясно одно — Петр струсил и вел себя, как трус: бросить свою армию накануне боя, будучи заранее убежденным в том, что она будет разбита в пять раз слабейшим противником — это есть трусость — и больше решительно ничего.   
          Примерно, такая же картина повторяется — уже в третий раз — во время гродненской операции. Там (дальше опять же по Ключевскому) :   
          «Петр, в адской горести обретясь... располагая силами втрое больше Карла, думал только о спасении своей армии и сам составил превосходно обдуманный во всех подробностях план отступления, приказав взять с собой «зело мало, а по нужде хотя и все бросить». В марте, в самый ледоход, когда шведы не могли перейти Неман в погоню за отступавшими, русское войско, спустив в реку до ста пушек с зарядами... «с великою нуждою», но благополучно отошло к Киеву...Но венцом полководческого искусства Петра был, конечно, Прутский поход: ничего столь позорного Россия не переживала никогда. Ключевский пишет так:   
          «С излишним запасом надежд на турецких христиан, пустых обещаний со стороны господарей молдавского и валахского и со значительным запасом собственной полтавской самоуверенности, но без достаточного обоза и изучения обстоятельств, пустился Петр в знойную степь, не с целью защитить Малороссию, а разгромить Турецкую Империю».   
          Если перевести эту сдержанную оценку на менее сдержанный язык, то надо сказать, что цель была глупа, а уж подготовка к ее достижению была и вовсе бестолкова. Турецкая империя начала восемнадцатого столетия далеко еще не была тем «больным человеком», каким ее привыкли считать наши современники. Для ее разгрома потребовались века. И потребовались такие настоящие полководцы, как Потемкин и Суворов. Петр сунулся совершенно не спросясь никакого броду и влип, как кур во щи: великий визирь окружил всю петровскую армию, так что Петру на этот раз, — за отсутствием по тогдашним временам авиации, — даже и бежать было невозможно. И в этой обстановке Петр проявил свою обычную «твердость духа» — плакал, писал завещание, предлагал отдать обратно всю Прибалтику (не Петром завоеванную!) тому же Карлу, выдачи которого он еще вчера ультимативно требовал от султана. Великий визирь не принял всерьез ни Петра, ни его гения, ни его армии, иначе он не рискнул бы выпустить ее за взятку, которою расторопный еврей Шафиров ухитрился смазать и визиря, и его пашей. Любезность победителей дошла до того, что они охраняли путь отступления петровской армии.   
          На Пруте, как и у историков, Петру повезло поистине фантастически: успей он прорваться подальше Прута, никакая взятка бы не спасла — ни его, ни его армии. Но ему повезло на капитуляцию без боя. Повезло и на Шафирове.   
          Во всяком случае, в результате этой, столь гениально задуманной и столь же гениально проведенной операции, России пришлось отдать Азов, который стоил таких чудовищных жертв, пришлось выдать Турции большую половину Азовского флота, для стройки которого были отпущены целые лесные области, и решение черноморского вопроса пришлось отодвинуть еще на несколько десятков лет.   
          За нарвские, гродненские и прутские подвиги любому московскому воеводе отрубили бы голову — и правильно бы сделали. Петра, вместо этого, возвели в военные гении. И в основание памятников петровскому военному гению положили полтавскую победу — одну из замечательнейших фальшивок российской историографии!

ПОЛТАВА

          C моей точки зрения Полтавский бой является одним из самых интересных моментов во всей русской военной истории. И не только по своим реальным политическим результатам, а как самое яркое, бесспорное доказательство того, что историки обворовали народ в пользу героя и массу — в пользу личности. Здесь фальшивка истории выступает с совершеннейшей наглядностью.   
          Вспомним стратегическую обстановку этого момента. После позорного бегства из-под Гродно, Петр оставил пути на Москву совершено беззащитными. В тылу Петра вспыхнули бунты башкирский и булавинский, показавшие, по Ключевскому: сколько народной злобы накопил Петр у себя за спиной». Но Карл «остался верен своему правилу — выручать Петра в трудные минуты» и, вместо того, чтобы идти на Москву — повернул на Украину.   
          Военные историки считают этот поворот сумасбродством. Как знать? Поход на Москву обещал, в случае успеха, завоевание России — а для этого сорокатысячной армии было, очевидно, недостаточно. Результаты польской интервенции Карл, вероятно, помнил хорошо. Нужно было найти какие-то другие человеческие резервы. Откуда их взять? Я не знаю тех переговоров, которые вел Мазепа с Карлом, но на основании позднейшего опыта переговоров между украинскими самостийниками и германским генеральным штабом — их очень легко себе представить. Вот, имеется украинский народ, угнетаемый проклятыми московитами, и только и ждущий сигнала для восстания во имя «вильной неньки Украины». Сигналом к восстанию будет появление Карла. Миллионные массы, пылающие ненавистью к московитам — дадут Карлу и человеческие кадры и готовую вооруженную силу и даже готового военного вождя — Мазепу (впоследствии — Скоропадского, Петлюру, Коновальца, Кожевникова и прочих). Карл, вероятно, помнил кое-что об участии казаков в предприятиях Смутного времени и едва ли знал о социальной, — а не национальной, — подкладке этого участия. Почему бы не повторить пути Самозванца? Путь на Полтаву давал ответ на основной вопрос завоевания России — на вопрос о человеческих кадрах, которые будут удерживать завоеванную страну.   
          Думаю, что военные историки осуждают Карла слишком сурово. Сто лет спустя Наполеон, учтя шведскую ошибку, пошел не на Полтаву, а на Москву — получилось не лучше. Двести лет спустя, то есть, имея за плечами и карловский и наполеоновский опыт, — германский генеральный штаб, в котором сидели никак уж не сумасбродные мальчишки — клевал, и не один раз, — решительно на ту же самую приманку. И с теми же, приблизительно, результатами. История не учит даже историков. Так, как же вы хотите, чтобы она учила генералов?.. К гиблым украинским берегам их всех «влечет неведомая сила» — она же поволокла и Карла.   
          Под Полтавой Карлу мерещилось: союзная украинская нация, доблестное запорожское казачество — кстати, и с запасом пороха, который Карл потерял под Лесной, мерещился верный союзник — Мазепа. И когда Карл дошел до Полтавы — не оказалось ни союзной нации, ни доблестного казачества, ни пороха, а вследствие всего этого не оказалось и Мазепы. Вместо того, чтобы командовать доблестными и союзными запорожцами — их пришлось осаждать. Эта осада в расчеты Карла не входила никак.   
          Перед Полтавой произошла еще одна история — битва под Лесной. Советская история СССР об этой битве пишет так:   
          «Незадолго перед этим Петр преградил путь Левенгаупту, шедшему с большим обозом и нанес ему 28 сентября 1708 года при деревне Лесной, на реке Соже решительное поражение. 5 тысяч повозок, груженых боевыми запасами и продовольствием, были захвачены».   
          Это не совсем так: «дорогу Левенгаупту преградил и его отряд разгромил не Петр, а Шереметьев». И вовсе не петровскими войсками, а старомосковской «дворянской конницей», той самой, которой, как огня, боялся Карл еще под Нарвой. Вспомним еще одно обстоятельство: эта же старомосковская конница, под командой того же Шереметьева, уже дважды била шведские войска — один раз под Эрестдорфом в 1701 году и второй раз при Гуммельсдорфе в 1702 году. Это случилось сейчас же после Нарвы, когда Эрестдорф и Гуммельсдорф, а еще больше Лесная, были сражениями, в которых: во-первых, дворянская конница, никак не загипнотизированная, подобно Петру, шведской непобедимостью, показала всем, в том числе и петровской армии, что и шведов можно бить, и, во-вторых, лишила Карла его обозов и, что собственно важно, — всего его пороха. Вследствие чего Карл под Полтавой оказался: а) почти без пороха и б) вовсе без артиллерии. Напомним еще об одном обстоятельстве: тот же Шереметьев и во главе той же старомосковской конницы, в промежуток между Нарвой и Полтавой, пока Петр занимался своими дипломатическими и прочими предприятиями, пошел по Лифляндии и Ингрии, завоевал Ниеншанц, Копорье, Ямбург, Везенберг, Дерпт — словом, захватил почти всю Прибалтику. Ему не повезло — ни у Петра, ни у историков. Петр его терпеть не мог и историки его замалчивают. Он не пьянствовал с Петром, не участвовал в суде над царевичем Алексеем — но под Полтавой (запомним и это) центром петровской армии командовал, все-таки, он. Я недостаточно компетентен в военной истории, чтобы установить с достаточной степенью точности: что именно сделал Шереметьев и что именно напортил Петр, — в командовании армиями Петр только и делал, что портил то, что делали другие. Но под Полтавой было очень трудно испортить что бы то ни было.   
          Итак, Карл бросил московский путь и пошел на Полтаву. К Полтаве пришло — по выражению Ключевского — «30 тысяч отощавших, обносившихся, деморализованных шведов». Эти отощавшие и деморализованные люди оказались кроме всего прочего без пороха, без артиллерии и без предполагавшихся союзников. Предполагавшиеся союзники наплевали и на Карла и на Мазепу, заперлись в Полтаве и под командованием какого-то генерал-майора Келина, повернули оружие против своего предполагавшегося вождя. Это не была петровская армия. Здесь не было ни преображенцев, ни семеновцев, ни Лефортов, ни Гордонов, ни де Круа — военные специалисты сказали бы, что это был сброд и плохо вооруженный сброд: тысячи четыре какой-то гарнизонной команды и тысячи четыре «вооруженных обывателей».   
          Итак, тысяч 8 вооруженного сброда под импровизированным командованием — против 30-ти тысяч шведской армии под командованием Карла.   
          В составе этого сброда никаких петровских частей не было. Сброд не интересовали петровские традиции — Нарвы и Гродна и, несмотря на четырехкратное превосходство неприятеля, он стал драться. Вспомним, что под Нарвой Петр бежал, имея пятикратное и под Гродной — троекратное превосходство на своей стороне.   
          Мы, — по крайней мере я, — ничего не знаем о Келине. Приходит в голову такой — не очень уж праздный вопрос: Келин дрался, уступая противнику в четыре раза. Петр бежал, превосходя противника в пять раз. Что было бы, если под Нарвой русскими войсками командовал не гениальный полководец Петр, а вовсе неизвестный нам заурядный генерал Келин? Шансы Келина были, как никак, в двадцать раз меньше Петровских. Но Келину никаких памятников не поставлено и о вооруженном сброде Полтавы не написано никаких поэм.   
          Этому сброду противостояла шведская армия под командой Карла. Шведы осаждали Полтаву два месяца Карл штурмовал ее три раза — и все три раза был с огромными потерями отбит. Полтавцы устраивали вылазки, и если в конце апреля к Полтаве пришло 30 тысяч «отощавших, обносившихся и деморализованных шведов», то после осады, штурмов и вылазок от них осталась окончательно растрепанная толпа, — которую Петру только и оставалось, что добить окончательно. Ключевский пишет:   
          «Стыдно было проиграть Полтаву после Лесной», — действительно, было бы стыдно. Но разве не были стыдом и Нарва, и Гродно, и Прут? К Полтаве Петр привел около 50.000 свежей армии, огромную артиллерию, а также и Шереметьева. Был, кроме того, и полтавский гарнизон. И Карл был кончен. Нелепым Прутским походом Петр чуть было не зачеркнул не только Азова, но и Полтавы. Но на Пруте его выручил Шафиров, как под Полтавой Келин, Шереметьев и те «вооруженные обыватели», имен которых мы вовсе не знаем.   
          В военных деяниях Петра остается еще и Азовский поход. Но о нем, пожалуй, не стоит и говорить. Незадолго до Петра, Азов завоевали казаки (1637 г.) — на свой риск и страх, в порядке, так сказать, частнопредпринимательской инициативы, без всего того помпезного театра, который вокруг азовской победы организовал Петр, и уж, конечно, без тех чудовищных жертв людьми и прочим, какое ухлопал в это предприятие Петр. Оценивая «хозяйственную заботливость» Петра, не забудем и того, что дубовые леса нынешней Воронежской губернии были для азовского флота вырублены сплошь и в количествах, далеко превосходящих любые флотские надобности. Миллионы бревен годами валялись потом по берегам и отмелям рек, область превращена в степь, а судоходство по Воронежу и Дону и до сих пор натыкается на остатки петровских деяний, в виде дубовых стволов 200 лет тому назад завязнувших в песчаном дне ныне степных рек. (*«Разрушение берегов и обмеление Дона сказались особенно заметно в период кораблестроения на Воронеже, когда были вырублены* ***миллионы десятин*** *(подчеркнуто мною.  — И. С.) леса для флота и для постройки и отопления вновь построенных городов на побережье Азовского моря» (Брокгауз и Ефрон, т. 21, стр. 38).* — И.С.) Как бы то ни было — Великая Северная война, которая тянулась 21 год и стоила России совершенно непомерных жертв людьми и средствами — была кончена.   
          Швеция была разгромлена. Маркс, который, как и все прочие, считал Петра «действительно великим человеком», только в одном месте проговорился о факторах разгрома Швеции: «Карл XII сделал попытку проникнуть в Россию, внутрь России, и этим погубил Швецию и показал всем неуязвимость России».   
          В словах Маркса есть некоторое преувеличение: всем Карл этого не показал: после Карла лез Наполеон, лезли немцы. Но Маркс верно отметил неуязвимость России — как таковой — вне зависимости от правительства, от вождя, от полководца. Напомню еще раз:   
          В эпоху Смутного времени — безо всякого правительства вообще — Россия справилась с поляками, шведами и с собственными ворами. Это заняло, в среднем, лет шесть. При очень плохом правительстве Сталина — Россия справилась с немцами в четыре года. При совсем приличном (по тем временам) правительстве Александра I Россия Справилась в полгода со всей Европой, над которой командовал не сумасбродный мальчишка и не «скандинавский бродяга», а один, действительно, из крупнейших военных гениев мира. Петру для войны, которую начал 18-летний мальчишка, в которой Россия превосходила Швецию военным потенциалом приблизительно в десять раз — понадобился 21 год.   
          Попробуем это историческое соображение формулировать в виде уравнений:

          Смутное время: Россия + ноль правительства = 6 лет   
          Шведы : Россия + Петр = 21 год   
          Наполеон: Россия + Александр = 1/2 года   
          Гитлер: Россия + Сталин = 4 года

          Во всех четырех случаях — разгром. Сильнейшим нашествием было, конечно, наполеоновское. И в это время Россия имела правительство никак не гениальное, но и не глупое. И срок в шесть месяцев надо бы считать нормальным сроком. В Смутное время вопрос затянулся благодаря революции, а в остальных двух случаях, — благодаря бездарности правительств, которые, — в смысле обороны страны, можно было бы считать отрицательной величиной — со знаком минус.   
          Шведскую войну поставил на очередь не Петр и не он ее выиграл. Выиграл Шереметьев с его дворянскими полками, выиграл Келин, с его вооруженными обывателями — выиграли, наконец, те факторы которые в истории России выигрывали всегда: пространства, время и масса. На этих трех факторах умный старик Кутузов, который, все-таки, не был Суворовым, разыграл Наполеона, как по расписанию, — Суворов, вероятно, разгромил бы Наполеона уже под Смоленском, если не под Вильной. Но при Кутузове — это была вся Европа и был Наполеон, а не Швеция и не Карл. Да и Северная война кончилась уже без Карла. Он погиб в Норвегии, на престоле оказалась его сестра, сестру взяла в оборот шведская аристократия, и Швеция поплыла по польско-шляхетскому руслу — по руслу полного внутреннего разложения. Преемники Петра распоряжались в Стокгольме, как у себя дома. Ни моральные, ни материальные ресурсы Швеции не были достаточны для войны с Россией вообще, а, тем более, для войны завоевательной. Россия разбила Швецию не благодаря Петру, а несмотря на Петра, разбила в частности та старомосковская конница, которую Петр, слава Богу, не успел, в помощь Швеции, разгромить сам. Но историки забыли Шереметьева и Келина и тех неизвестных «вооруженных обывателей», всех тех людей, которым Петр только портил все, что только технически можно было портить. И русская официальная история, и до-советская, и советская ставят Петра наряду с Суворовым, — с человеком, который, командуя войсками в 93-х сражениях, выиграл ровно девяносто три.   
          Я привожу здесь совершенно элементарные, достаточно общеизвестные факты. Не надо открывать никаких новых Америк и раскапывать новые источники: полководческая деятельность Петра, с его Нарвами, Азовами, Прутом и даже Полтавой — совершенно очевидна для всякого человека, которого не успели загипнотизировать великая историческая фальшивка о военном гении Петра. Очень возможно, что именно великим перепугом августа 1689 года, можно объяснить в биографии и деяниях Петра очень многое. Не был ли и сам Санкт-Петербург, в некоторой степени, реакцией против Московского перепуга? Подальше от стрелецких мест, подальше от Кремля, подальше от России в свой болотный парадиз, где Преображенский приказ был вполне достаточной гарантией против русского народа.

ВОЕННАЯ РЕФОРМА

          От полководческой фальшивки очень недалеко ушла и другая фальшивка — петровская военная реформа. Напомню основные факты: Реорганизация армии — то есть, переход от системы милиционной к системе регулярной — был начат еще Грозным. Этот переход диктовался всем международным положением Москвы. Нынешняя стратегия утверждает категорически, что милиционные армии, в высокой степени пригодные для оборонительных войн, оказываются весьма малоприспособленными для наступательных. Москва, закончив свои непосредственно оборонительные операции, стояла накануне перехода к наступательным — против Польши, Ливонии, Швеции и Турции. Московскую армию необходимо было реорганизовать. И вовсе не потому, что она была вообще плоха, а потому, что перед ней история поставила иные задачи.   
          На путь этой реорганизации стал уже Грозный. За несколько лет до воцарения Петра — в 1681 году — из 164 тысяч московской армии — 89 тысяч, т.е. больше половины были переведены на иноземный строй, т. е. были превращены в регулярную постоянную армию. (*По Милюкову было 60 тысяч пехоты и 30 тысяч конницы иноземного строя, 16 тысяч дворянских войск и 22 тысячи стрельцов.* — И.С.) Как видите, «реформа» проводилась и без Петра. При Петре она была, во-первых, снижена и, во-вторых, искалечена. В первом Азовском походе тысяч на полтораста наших войск, войска иноземного строя составляли только десять процентов — около 14 тысяч. К концу петровского царствования регулярная армия составляла уже около двух третей всех вооруженных сил страны, но это было прежде всего совершенно автоматическим результатом Северной войны, когда в течение больше, чем двадцати лет солдат не выходил из строя и, когда милиционная армия совершенно автоматически превращалась в постоянную.   
          К концу Северной войны Петр придумал план расквартирования армии по стране и содержания ее непосредственно за счет местного населения. Для этого надо было это население учесть. Было предписано «взять сказки», т. е. произвести всенародную перепись. Указ о переписи был изложен «обычным торопливым и небрежным лаконизмом законодательного языка Петра» (Ключевский). «Столь же неясно указ предписывал порядок своего исполнения, стращая исполнителей конфискацией, жестоким государевым гневом, разорением и даже смертной казнью — обычными украшениями законодательства Петра» (Ключевский). «Было предписано заковать в железо работников переписи и держать в кандалах губернаторов. Пороли нещадно, вешали», но «Преобразователь так и не дождался конца предпринятого им дела: ревизоры (*ревизоры переписи*.  — И. С.) не вернулись и к 28 января 1725 г., когда он закрыл глаза».   
          Не будем строги к губернаторам: Петр писал свои приказы и указы таким тарабарским языком, так путано и бестолково, что не всегда и сам сенат мог понять, так чего же, собственно, хочет Великий Преобразователь и за что, собственно, он собирается казнить и за что миловать? В другом месте Ключевский говорит, что стиль петровских указов и приказов «поддавался только опытному эгзегетическому чутью сенаторов»... Сенат, конечно, привык и к тарабарскому петровскому стилю, и к его языку, загроможденному голландскими словами, но, помимо всего прочего, сенат толковал петровские указы так, как ему, сенату, было угодно. Проверял — гвардейский унтер офицер, а тот, надо полагать, ни в указах, ни в стиле не понимал ровным счетом ничего. Но каково было провинциальным служилым людям, получавшим петровские приказы? Где среди них — на всем пространстве Империи — можно было найти «опытных эгзегетов»? Кто бы, например, в Казани и Симбирске мог догадаться, что значит хотя бы тот же «Анштальт»? Словарей иностранных языков в те времена не существовало, а ошибки выписывались на живом теле администрации. В петровский язык — и сам по себе достаточно тарабарский — было нанизано огромное количество иностранных слов. Представьте себе положение какого-нибудь симбирского воеводы, губернатора или кого угодно: человек получает приказ, из которого понятно только одно: будут пороть, пытать и вешать. А за что и в каком случае — неизвестно. Эта тарабарщина касается не одного только закона о ревизии и расквартировании — это обычный стиль петровского законодательства. Закон о единонаследии — по Ключевскому: «плохо обработан, не предвидит много случаев, дает неясные определения, допускающие противоречивые толкования». Ключевский выражается вежливо, но и сам тут же «допускает противоречивое толкование»: пункт первый указа категорически запрещает продажу недвижимостей, а пункт 12-й разрешает ее «по нужде» — кто же продает, как не «по нужде»? В результате всего этого из петровского законодательства получался сплошной кабак, пожалуй, не лучше советского.   
          Итак, армия была кое-как расквартирована — сначала по крестьянским дворам. Потом приказано было строить полковые «слободы». «Начали стройку спешно, вдруг, по всем местам, отрывая крестьян от их работ, обложили крестьян единовременным сбором. Потом постройка была отсрочена на четыре года, но «нигде работы не были кончены и свезенный крестьянами огромный материал пропал». (Тот же Ключевский с его «хозяйственным чутьем Петра»). В конце концов, армия как-то расселилась, и ей было приказано и воров ловить, и недоимки выколачивать, и за законностью наблюдать и, главное, самой заботиться о своем пропитании, дабы, по рецепту Петра, «добрый анштальт внесть» ...   
          «Долго помнили плательщики этот добрый анштальт» — говорит Ключевский... «Шесть месяцев о году деревни и села жили в паническом ужасе от вооруженных сборщиков ... среди взысканий и экзекуций... Не ручаюсь, хуже ли вели себя в завоеванной России татарские баскаки времен Батыя... Создать победоносную полтавскую армию и под конец превратит ее в 126 разнузданных полицейских команд, разбросанных по десяти губерниям среди запуганного населения, — во всем этом не узнаешь преобразователя».   
          Не знаю, почему именно не узнать? В этой спешке, жестокости, бездарности и бестолковщине — весь Петр, как вылитый, не в придворной лести расстреллевский бюст, конечно, а в фотографическую копию гипсового слепка. Чем военное законодательство с его железами и батыевым разгромом сельской Руси лучше Нарвы и Прута? Или «всепьяннейшего собора»? Или, наконец, его внешней политики?..   
          Внешнюю политику Петра я не буду разбирать подробно. Приведу только суммарное резюме Ключевского:   
          «...У Петра зародилась спорт — охота вмешиваться в дела Германии. Разбрасывая своих племянниц... по разным глухим углам немецкого мира, Петр втягивается в придворные дрязги и мелкие династические интересы огромной феодальной паутины. Ни с того, ни с сего Петр впутался в раздор своего мекленбургского племянника с его дворянством, а оно через собратьев своих ... поссорило Петра с его союзниками, которые начали прямо оскорблять его. Германские отношения перевернули всю внешнюю политику Петра, сделали его друзей врагами, не сделав врагов друзьями, и он опять начал бросаться из стороны в сторону, едва не был запутан в замысел свержения ганноверского курфюрста с английского престола и восстановления Стюартов. Когда эта фантастическая затея вскрылась, Петр поехал во Францию предлагать свою дочь Елизавету в невесты малолетнему королю Людовику XV... Так главная задача, стоявшая перед Петром после Полтавы решительным ударом вынудить мир у Швеции, разменялась на саксонские, мекленбургские и датские пустяки, продлившие томительную девятилетнюю войну еще на 12 лет... Кончилось это тем, что Петру... пришлось согласиться на мир с Карлом XII, обязавшись помогать ему в возврате шведских владений в Германии, отнятию которых он сам больше других содействовал, и согнать с польского престола своего друга Августа, которого он так долго и платонически поддерживал ...»   
          Эта сводка, как видите, не только кратка и выразительна, но и достаточно убедительна: здесь не пахнет не только гениальностью (сравните, например, внешнюю политику Бисмарка), но даже и самым середняцким здравым смыслом. Та же бестолковщина, как всегда и везде, по каждому подвернувшемуся случаю. Несколько сгущая краски, можно было бы сказать, что с истинно железной настойчивостью Петр старался наделать глупостей где и как это только было возможно. И почти все они остались не бесследными и в дальнейшей русской истории.   
          Петр открыл моду вмешиваться во всякие европейские пустяки. Я попытаюсь установить, сколько нам стоило это вмешательство. Мы влезли в семилетию войну, мы спасали Пруссию от Австрии и Австрию от Венгрии, Италию — от Наполеона, и мы, наконец, создали современную нам Германию — для создания этой Германии больше всего было пролито именно русской крови. Для наших правящих кругов, перероднившихся с западноевропейскими феодалами и с западноевропейской философией, интересы «Генуи и Лукки», как для Анны Шерер на первой странице «Войны и Мира» были ближе и понятнее интересов тульского или киевского мужика. Души всех людей этого послепетровского слоя «принадлежали короне французской» — мужики же служили только для пропитания «плоти».

ПТЕНЦЫ

          В известной, обошедшей все учебники истории, застольной беседе Петра с князем Долгоруким обсуждался вопрос о том, какой царь был лучше: Петр или его отец Алексей. Ответ Долгорукого был очень дипломатичен: похвалил отца и превознес сына. В ряде всяких банальностей, сказанных по этому поводу Долгоруким, была и очень старая истина о том, что «умные государи умеют и умных советников выбирать и их верность наблюдать». Общий тон оценке петровского выбора советников дал Пушкин: «сии птенцы гнезда Петрова, его товарищи, сыны». Пушкинский мотив повторяют и наши историки — одни с некоторыми оговорками, другие с подчеркиванием демократичности петровского подхода к выбору «товарищей сынов».   
          Выбор подходящих сотрудников является, конечно, самой важной задачей всякого организатора, — монарха в особенности, ибо как раз монарх в своем выборе стеснен менее, чем все остальные организационные работники. Умный организатор — тут Долгорукий совершенно прав, — подбирает себе и умных сотрудников. Конечно, старается обеспечить и их «верность». Это общее положение можно принять, как аксиому. И, как аксиому же, принять и противоположное положение: глупый организатор подбирает и соответствующих себе сотрудников. Так каких же сотрудников подобрал себе Петр? Предоставим оценку Ключевскому:   
          «Князь Меньшиков, отважный мастер брать, красть и подчас лгать... Граф Апраксин, самый сухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах и незнакомый с первыми зачатками мореходства... затаенный противник преобразований и смертельный ненавистник иностранцев. Граф Остерман... великий дипломат с лакейскими ухватками, который в подвернувшемся случае; никогда не находил сразу, что сказать, и потому прослыл непроницаемо скрытным, а вынужденный высказаться — либо мгновенно заболевал послушной томотой, либо начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя, робкая и предательская каверзная душа... Неистовый Ягужинский... годившийся в первые трагики странствующей драматической труппы и угодивший в первые генерал-прокуроры сената...»   
          Многие из «птенцов» обойдены здесь молчанием: например, тот же де Круа. Он все-таки, был главнокомандующим первой петровской армии — значит, далеко не последней спицей в колеснице. Был еще и Зотов — в свое время учивший грамоте Петра и потом спившийся окончательно. Ничего не сказано о Лефорте — главном поставщике петровских удовольствий. Ничего не сказано об обер-фискале Нестерове, которому, все-таки, пришлось отрубить голову за взятки. Но эта казнь была случайностью — крали все. Крали в невиданных ни до, ни после размерах и масштабах. Алексашка Меньшиков последние 15 лет своей жизни провел под судом за систематическое воровство, совершенно точно известное Петру.   
          Во всяком случае, этот групповой портрет птенцов Петрова гнезда достаточно полон и выразителен. Коротко, но тоже довольно выразительно формулирует Ключевский и их самостоятельные, после смерти Петра, действия. «Они начали дурачиться над Россией тотчас после смерти преобразователя, возненавидели друг друга и принялись торговать Россией, как своей добычей».   
          «Под высоким покровительством, шедшим с высоты Сената, — глухо пишет Ключевский, — казнокрадство и взяточничество достигли размеров небывалых раньше, разве только после...»   
          Во что именно обошлись России эта торговля и это воровство? Этим вопросом не удосужился заняться ни один историк, а вопрос не очень праздный. Дело осложняется тем, что, воруя, «птенцы, товарищи и сыны» прятали ворованное в безопасное место — в заграничные банки. «Счастья баловень безродный» Алексашка Меньшиков перевел в английские банки около пяти миллионов рублей. Эта сумма нам, пережившим инфляции, дефляции, девальвации, экспроприации и национализации, не говорит ничего. Для ее оценки вспомним, что весь государственный бюджет России в начале царствования Петра равнялся полутора миллионам, в середине — несколько больше, чем трем миллионам, и к концу — около десяти. Так что сумма, которую украл и спрятал заграницей Меньшиков, равнялась, в среднем, годовому бюджету всей Империи Российской. Для сравнения представим себе, что министр Николая II украл бы миллиардов 5 в золоте или сталинских миллиардов полтораста — в дензнаках.   
          За Меньшиковым следовали и другие. Но не только «птенцы», а и всякие более мелкие птенчики. «Финансовое доверие» было организовано так прочно, что в начале Северной войны понадобился указ, запрещавший деньги «в землю хоронить» — не всем же был доступен английский банк, хоронили и в землю. У каких-то Шустовых на Оке нашли по доносу на 700.000 рублей золота и серебра. Сколько было таких Меньшиковых, которые. сплавляли заграницу сворованные деньги, и таких Шустовых, которые прятали свои деньги от меньшиковского воровства, а воровство развилось совершенно небывалое. М. Алданов в своих романах «Заговор» и «Чертов мост» рисует, как нечто само собою разумеющееся, переправу чиновных капиталов в амстердамские банки. Речь идет о конце екатерининской эпохи. Надо полагать, что эта традиция далеко пережила и Екатерину. Сколько капиталов, в результате всего этого исчезло из русского народно-хозяйственного оборота, сколько погибло в земле и — вопрос очень интересный — сколько их было использовано иностранцами для обогащения всяких голландских, английских и прочих компаний? Историки этим не поинтересовались, — по крайней мере, я не знаю ни одного труда на эту тему. А вопрос может быть поставлен и в чрезвычайно интересной плоскости: выколачивая из мужика самым нещадным образом все, что только можно было выколотить, с него драли семь и больше шкур. Какой-то процент шел все-таки на какое-то дело. Огромная масса средств пропала совершенно зря — гнили и дубовые бревна, и полковые слободы, и конская сбруя, и корабли, и Бог знает, что еще. Какой-то процент, судя по Меньшикову, очень значительный утекал в заграничные банки. Заграничные банки на шкуре содранной с русского мужика, строили мировой капитализм, тот самый, который нынче товарищ Сталин пытался ликвидировать с помощью той же шкуры, содранной с того же русского мужика.   
          Не примите, пожалуйста, все это за преувеличение. Если только один Меньшиков уворовал сумму, равную государственному бюджету, то мы вправе предполагать, что остальные вольные и невольные воры и укрыватели только в меньшиковское время перевели заграницу сумму, равную по меньшей мере еще двум государственным бюджетам. А это по довоенным — до 1914 года — масштабам должно было равняться миллиардам десяти довоенных золотых рублей. На такую сумму можно было «построить капитализм». И русский мужик был, по существу, ограблен во имя европейских капиталистов.   
          Вот вам фактическая справка о подборе «умным государем» его ближайших сотрудников, соратников, а также и собутыльников. Наши просвещенные историки как-то совсем прозевали эту последнюю и важнейшую функцию петровских птенцов — непременное обязательное участие в беспробудном пьянстве.   
          Оно началось давно — еще в Кокуе. Там, по словам князя Куракина, было «дебошество и пьянство такое великое, что невозможно и написать, что, по три дня запершись в дома, бывали так пьяны, что многим случалось оттого и умирать».   
          Это было в начале царствования. То же было и в самом конце. За полгода до смерти Петра, саксонский посланник Лефорт писал: «Не могу понять этого государства. Царь шестой день не выходит из комнаты и очень нездоров от кутежа, происходившего по случаю закладки церкви, которая была освящена тремя тысячами бутылок вина. Уже близко маскарады, и здесь ни о чем другом не говорят, как об удовольствиях, когда народ плачет. Не платят ни войску, ни флоту, ни кому бы то ни было».   
          В последней части этой фразы Лефорт не совсем прав: гвардии платили всегда, для этого были особые причины. В промежутке между Кокуем и смертным одром пьянство шло практически непрерывное. Так что французы, наблюдавшие Петра в Париже, были искренне изумлены: когда же эти люди работают?.. И пришли к тому несколько скороспелому выводу, что работать русские люди могут только в пьяном виде. Вывод был несколько скороспелый: Петр вообще не работал: он суетился. И хотя, по Пушкину, он «на троне вечный был работник», но для работы у него за вечными разъездами и таким же вечным пьянством просто технически не было времени и не могло быть.   
          Но кроме пьянства, у Петра были и несколько своеобразные способы обращения даже и с «товарищами сынами»: старик князь Головин терпеть не мог салат и уксус. Петр заставлял гвардейцев держать старика за руки и ноги и собственноручно напихивал ему в рот салат, пока из носа и рта не начинала литься кровь. Великий предшественник Ярославского Губельмана занимался кроме того антирелигиозными развлечениями, нам уже из-вестными.   
          Поставим вопрос так, как ни один из наших просвещенных историков поставить не догадался: что, спрашивается, стал бы делать порядочный человек в петровском окружении? Делая всяческие поправки на грубость нравов и на все такое в этом роде, не забудем, однако, что средний москвич и Бога своего боялся, и церковь свою уважал, и креста, сложенного из неприличных подобий, целовать во всяком случае не стал бы.   
          В Москве приличные люди были. Вспомните, что тот же Ключевский писал о Ртищеве, Ордыне-Нащокине, В. Головине — об этих людях высокой религиозности и высокого патриотизма, и в то же время о людях очень культурных и образованных. Ртищев, ближайший друг царя Алексея, почти святой человек, паче всего заботившийся о мире и справедливости в Москве. Головин, который за время правления царицы Софьи построил в Москве больше трех тысяч каменных домов и которого Невиль называет «великим умом и любимым ото всех». Блестящий дипломат Ордын-Нащокин, корректность которого дошла до отказа нарушить им подписанный Андрусовский договор. Что стали бы делать эти люди в петровском гнезде? Они были там невозможны совершенно. Как невозможным оказался фактически победитель шведов — Шереметьев. Шлиппенбах (по Пушкину — «пылкий Шлиппенбах»), которого Шереметьев разбил три раза, переходит в русское подданство (тоже — нравственная рекомендация), получает генеральский чин и баронский титул и исполняет ответственнейшие поручения Петра. А Шереметьев умирает в забвении и немилости и время от времени тщетно молит Петра об исполнении его незамысловатых бытовых просьб. И письма Шереметьева остаются без ответа. Поставим точки над «и»: около Петра подбиралась совершеннейшая сволочь, и никакой другой подбор был невозможен вовсе. Как бы ни оценивать признаки порядочности, честности или хотя бы простого приличия, совершенно очевидно, что ни при какой оценке этих признаков ни порядочности, ни честности, ни приличию при Петре места не было. Как бы ни оценивать традиции, предрассудки или даже суеверия Москвы, совершенно очевидно, что целовать кощунственный крест мог только тот из вчерашних москвичей, у которого ни Бога, ни совести и в заводе не было. Никакой порядочный москвич, принимая во внимание терема или даже не принимая их во внимание, не мог пойти со своей женой, невестой или дочерью в петровский публичный дом, где ее насильно будут накачивать сивухой, а то и сифилисом снабдят. Петр шарахался от всего порядочного в России, и все порядочное в России шарахалось от него.   
          Вот и получилась группа птенцов, товарищей и сынов, которые на другой же день после смерти своего великого собутыльника принялись «торговать Россией, как своей добычей». Что можно было ожидать иное?   
          Сейчас для этих «птенцов» мы нашли бы Другое название: «выдвиженцы». Трагическая судьба всякой революции — в том числе и петровской — заключается в том, что она всегда строится на отбросах. Судьба этих отбросов одинакова во всех революциях. Во французской Робеспьер перерезал всех и сам был зарезан, а в русской Сталин вырезал всех. В петровской всех перерезал Меньшиков — «птенцы, товарищи и сыны» гибли на плахе, — но и сам Меньшиков помер в березовской ссылке.   
          Но пока они не вырезали друг друга, Россией правили именно они. Вероятно, даже и не Петр. Петр писал свои невразумительные и бестолковые приказы и исчезал заграницу то лечиться, то племянниц замуж выдавать, то союзы заключать. В промежутках он мелькал от Азова до Архангельска, рвал зубы, выделывал табакерки, фабриковал какую-то столярную ерунду, был шкипером, бомбардиром: «то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник — он всеобъемлющей душой, на троне вечный был работник». Но работа была совсем не та, которой должен был заниматься царь и которая была нужна России. Пресловутые мозоли на петровских дланях и заплаты на петровских сапогах были впоследствии использованы с чисто демагогическими целями; сам Петр об этих целях, вероятно, и не думал вовсе. Лучше уж Петр купил бы себе миллион новых сапог, чем вырубать зря миллионы десятин дубового леса, и лучше уж занимался бы он хотя бы познанием «физиологии народной жизни», чем вытаскиванием зубов или выпиливанием табакерок. Мозолистые руки так же плохо аттестуют царя, как и хирурга: что мне за утешение, если из-за своих пролетарских мозолистых рук хирург ткнет меня ножом совсем не туда, куда надо. Это очень напоминает недавний советский партмаксимум: люди обошлись России в сотни миллиардов рублей и десятки миллионов жизней, но зато получали они, якобы не больше 225 рублей в месяц: такого режима экономии, как советский партмаксимум или петровские златы — не дай Господи!   
          Во всяком случае, достаточно очевидно, что для государственной работы — даже и не такой уже систематической, какою занимался, например, Наполеон, за всеми этими метаниями, ремеслами, пьянством и лечением просто-напросто не могло быть времени. Петр возникал откуда-то из Карлсбада, налегал этаким орлом, бил дубинкой, отправлял на плаху, и снова исчезал то ли в Копенгаген, то ли в Архангельск, предоставляя судьбы страны, в распоряжение выдвиженческого сената с его «эгзегетическим чутьем». Сенаторское же чутье было направлено в те места, где плохо лежали деньги...   
          Выдвиженческий аппарат Петра не ограничивался сенатом. Если перевести сенат на язык советской действительности, то это будет ЦК партии, однако лишенный надзора со стороны, скажем, Сталина; Сталин не разъезжал, не плотничал, и не пьянствовал. Рядом с сенатом — Преображенский приказ — нынешнее ОГПУ. Основной вооруженной массой выдвиженцев, поддерживавшей власть уже не «эгзегетикой» и даже не застенком, а просто штыками, была гвардия. Это была фактическая «опора власти». И не гвардия зависела от сената и даже от Преображенского приказа, а сенат и приказ зависели от гвардии. Недаром над сенатом был поставлен непосредственный гвардейский контроль, в виде того знаменитого офицера, который должен был присутствовать на сенатских заседаниях, быть там «оком государевым», наблюдать за порядком и сажать сенаторов на гауптвахту; таких административных отношений, кроме еще как в Советской России, не было никогда и нигде.   
          Роль гвардейских унтер-выдвиженцев, насколько я знаю, в нашей историографии еще вовсе не обрисована, — да и не могла быть: до Октября выдвиженческого института вовсе не существовало, а после Октября о нем не вполне удобно было писать. Сейчас, сквозь призму советского опыта, этот институт нам несколько понятнее, чем старым историкам.   
          Напомню сталинскую схему, о которой я писал в своей первой книге («Россия в Концлагере»). Сталин вырезав ленинских апостолов, поставил свою ставку на сволочь, на отбросы, на выдвиженцев, то есть, на людей, которые «выдвинулись» только благодаря его, Сталина, поддержке и которые ни по каким своим личным качествам ни в какой иной обстановке выдвинуться не могли. И поэтому они зависят от Сталина целиком и Сталин от них зависит целиком. Погиб Сталин — погибли и они. Они оставят Сталина — и Сталин будет зарезан первым же попавшимся конкурентом. Отсюда происходит их обоюдная преданность — действительно уж «до гроба». Отсюда же и универсальность задач, которые возлагались на оба сорта выдвиженцев — и петровских, и сталинских. В обоих случаях вопрос шел вовсе не о «пользе дела», а об охране «завоеваний революции». Отсюда и поразительный параллелизм деяний и подвигов обоих видов выдвиженчества: отряды по раскулачиванию не очень многим отличаются от тех 126 полков, которые Ключевский сравнивает с Батыевым нашествием. Гвардейские офицеры, контролирующие в провинции воевод и губернаторов, заковывавшие их в железо и сажавшие их в колодки, почти ничем не отличаются от провинциального ГПУ, везде вынюхивающего саботаж и вредительство и сажающего провинциальных администраторов и хозяйственников, если не в колодки, то в концлагерь. Эту сторону петровской деятельности мы знаем только урывками — по крайней мере я. Покровский приводит письмо дипломата Матвеева о том, как в Москву прибыл гвардейский унтер-офицер Пустошкин, который там «жестокую передрягу учинил... всем здешним правителям, кроме военной коллегии и юстиции, не только ноги, но и шею смерил цепями»... Это было в Москве, а вот для Вятки — даже и унтер-офицера не потребовалось — туда был послан простой гвардейский солдат, рядовой Нетесов, который пребывал, как и его покровитель, в перманентном пьяном виде, «забрав всех как посадских, так и уездных лучших людей, держит их под земской конторой под караулом и скованных, где прежде всего держаны были разбойники, и берет взятки»... Гвардейский офицер или солдат, по понятиям Петра, как и советский выдвиженец, по понятиям Сталина, могли все, но больше всего мог он «жестокую передрягу учинить» — для этого особой умственности не требуется. Но это был тот слой, на котором держался Петр и который пришел после смерти Петра к почти неограниченной власти над Россией. Покровский говорит: «Петр не успел закрыть глаза, как гвардия уже была хозяйкой положения и не только в императорском дворце!» Большая Советская Энциклопедия выражается еще проще: «петербургская гвардейская казарма явилась преемницей московского земского собора» (Т. 14, стр. 213).   
          Это не совсем точно: гвардейская казарма явилась преемницей не только собора, но также и царской власти: от Петра до Александра I-го включительно, самодержавной монархии унас не было, ее заменяла гвардейская казарма. С этой точки зрения не очень прав и Тихомиров, когда он говорил, что «монархия уцелела только благодаря народу». На эти сто лет — от смерти Петра до 14 декабря 1826 года — в России самодержавной монархии не было вообще: нелепо было бы считать какими бы то ни было самодержицами Екатерину, Елизавету, Анну и прочих, которые вынуждены были делать все то, что им приказывает гвардия.   
          Исчез самый основной смысл русского самодержавия, единоличная власть, не подчиненная никакому классу страны, власть ответственная, по крайней мере теоретически, только перед своей совестью.   
          Обычная точка зрения на монархическую деятельность Петра сводится к тому, что он, дескать, ликвидировал вотчинную традицию московской государственности и первый стал рассматривать царя, не как собственника страны, а как слугу государства: «а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии»... (из приказа Петра перед Полтавским боем).   
          Если оставить в стороне литературные, по должности, упражнения насчет жизни, славы и благоденствия, то нужно сказать, что первыми слугами государства считали себя и московские цари, только выражались не столь литературно или не выражались вовсе: было само собою понятно. И Василий, и Иваны, и Алексей в весьма различных случаях говорили о царской ответственности перед Господом Богом. Градовский писал, что русский князь считался государем, но не владельцем земли, и что взгляд на князя, как на собственника земли, возник только в монгольский период. Однако уже Калита — по Ключевскому — «все считал не своей собственностью, а делом властелина, от Бога поставленного: люди свои уймати от лихого обычая». Грозный в письме к Адашеву прямо говорит о «людях, врученных мне БОГОМ». Ключевский говорит: «Государство тем и отличается от вотчины, что в нем воля вотчинника уступает место государственному закону» — дело идет о наследовании по закону или по завещанию. Как бы в ответ на это положение, Покровский (т. 3, стр. 185) говорит категорически: «Как вотчиной, так и царским престолом в Москве нельзя было распоряжаться по своему усмотрению». И манифесты 1714 и 1722 г. г. (указ о единонаследии, который фактически передавал поместья в единоличное владение помещикам, и указ о престолонаследии, который фактически упразднял самый смысл монархии) Покровский объясняет так: «И тут, и там для Петра было важно расширить предел отцовской власти, стесняющейся действовавшими в России обычаями».Историки систематически и упорно не замечают того факта, что обычай есть тоже закон — только неписаный; английская неписаная конституция оказалась безмерно крепче остальных писаных, в том числе и нашей. Соловьев, а за ним Ключевский и прочие упорно не хотят заметить тот факт, что писаный закон 1722 года был писаным беззаконием, нарушавшим неписаный закон страны. Петр, отбрасывал государство к довотчинной системе — ибо даже распоряжение вотчинами в Москве было ограничено — закон же 1722 года устанавливал неограниченное право распоряжения российским престолом.   
          Правом этим Петр воспользоваться не успел — воспользовался Меньшиков, Психологическая загадка петровского «завещания» заключается в том, что, издав свой указ за три года до своей смерти, Петр так и не удосужился вставить в пустое место этого закона конкретное имя престолонаследника. Историки, признавая решительность Петра одним из самых основных качеств его характера, объясняют эту оттяжку нерешительностью — никак не мог, де, решить кого же именно ему следует указать в качестве наследника.   
          Петр был болен и не мог не знать, что его жизнь висит на волоске. А вместе с его жизнью висит на волоске и вопрос о будущем царе. Заботясь о мануфактурах в России и о зубоврачебных операциях над подвернувшимися ему беднягами, заботу о самом важном — о будущности престола — Петр так и оставил в руках Алексашки Меньшикова. Покровский дает объяснение, полностью входящее в ту характеристику, которую я рискнул дать всему облику Петра: Петр прежде всего был трусом. «'Боязнь смерти была так велика, — пишет Покровский, — что у него не хватало духу за это взяться, а у окружающих — напомнить ему об этом. Спохватились, когда Петр был уже почти в агонии, но в каракулях, выведенных дрожащей рукой, смогли разобрать только два слова: «отдайте все...»   
          А кому отдать — так и осталось неизвестным. Я не знаю, остались ли эти трагические каракули в архивах русской истории. Я не знаю также и того, что было бы, если бы вместо каракуль Петр уже «почти в агонии» успел написать имя законного наследника. У смертного одра Петра толпились люди, которые убили отца этого наследника. Для них Екатерина .была и единственным выходом, и по полному ничтожеству своему, наилучшей монархической вывеской — вывеской для масс, прикрывавшей диктатуру гвардии. Лишние несколько секунд жизни и сознания Петра едва ли бы могли помочь сложившемуся благодаря его собственной деятельности соотношению сил. Силой была гвардия, а не Россия. И во главе этой силы стояли Меньшиковы и Долгоруковы. Петр всю свою жизнь разрушал российский порядок. И последних секунд его жизни было, ясно, недостаточно для ликвидации многолетней работы по разрушению.   
          Французский посланник докладывал своему правительству: «В течение болезни он (Петр) сильно упал духом, страшно боялся смерти... повелел молиться о себе в церквах разных религий и причащался три раза в течение одной недели»... Разве это не та же «крепость духа», которую Петр демонстрировал в Троицкой Лавре, у Нарвы, у Гродны, в Прутском походе? И разве эта крепость духа хоть отдаленно похожа на завещания московских князей и царей, где с великой заботой и великим мужеством перед лицом смерти они предвидели все, что мог предвидеть москвич, который и свою страну любил и своего Бога боялся. Петр тоже испугался Бога, но только на самом краю могилы. Вспоминал ли он в эти часы о всепьяннейшем синоде?

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

          В нашей исторической литературе прочно и, по-видимому, окончательно утвердилась мысль, что петровские преобразования были, так сказать, автоматическими и не очень предусмотренным следствием затяжной Северной войны. Ключевский, правда, признает что «и до Петра начертана была довольно цельная преобразовательная программа, во многом совпадавшая с реформой Петра, в ином даже шедшая дальше ее» (стр. 219), а несколько раньше мельком констатирует (стр. 52), что «Петр следовал указаниям своих предшественников, однако, не только не расширил, но еще сузил их программу внешней политики».   
          Можно было бы сказать иначе: предшественники Петра не только «начертали» определенную преобразовательную программу, но и весьма, детально осуществляли ее. Мы уже видели, что армия уже была больше чем наполовину реорганизована, что заводы строились, да и не только заводы, но и корабли, что приглашались иностранные специалисты, что русские купцы заводили свои представительства заграницей и даже вытесняли иностранных купцов с иностранных рынков, что была и аптека, и театры, и даже первая газета. Петр не «начал реформу» и не «следовал указаниям своих предшественников» — он застал реформу уже на ходу, почти на полном ходу. И не только изменил ее направление — он превратил реформу в революцию, а преобразование — в ломку. Технически эта перемена направления объясняется нуждами Северной войны: «денег, как возможно сбирать, понеже деньги суть артерией войны». Принципиально она объясняется тем отвращением ко всему русскому, которое всосал в себя Петр с млеком кокуйских попоек.   
          Кокуйская слобода многое объясняет в психологии Петра. Она объясняет прежде всего тот факт, что — по словам Ключевского — «в Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек». У Петра — «недостаток суждения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях...» Казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя... До конца жизни своей он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни».   
          Московские цари воспитывались в Кремле, который имел много плохих сторон, но все-таки давал и некоторые «правила, одухотворяющие и оправдывающие власть», и некоторые «политические понятия», на которых строилось московское государство, и некоторое представление о «физиологии народной жизни». Петр ничего этого не имел — недостаток не столь великий для «хорошего плотника», но катастрофический для «великого государя». Не будем еще раз придираться к вопросу о том, каким это образом у Ключевского совмещается гениальность Петра с «правителем без правил», с политической безграмотностью, с недостатком суждения, нравственной неустойчивостью и, наконец, неумением предвидеть последствий своих собственных деяний. Постараемся выяснить, откуда все это появилось.   
          Не думаю, чтобы можно было найти окончательный ответ. По всей вероятности, очень энергичный и подвижной мальчик, попав в Кокуйскую атмосферу, где никаких «общественных сдержек» не было и быть не могло, что называется, «свихнулся». «Чин» московских дворцов, с их истовостью и их временами тяжелым обрядом, с их традицией, был заменен публичными домами Кокуя, где вокруг юного царя увивались всякие поставщики удовольствий. Кабак и публичный дом сделались воспитателями Петра.   
          Они скрашивались астролябиями, Теммерманами, ботиками и всякими такими техническими игрушками, до которых так охочи всяческие мальчики во все эпохи человеческой истории. Откуда-то издалека Кремль угрожал дисциплиной. Кремль напоминал об «общественных сдержках», и все поведение Петра по отношению к Кремлю очень напоминает гимназиста, только что покинувшего надоевшие стены и торжественно сжигающего свои учебники: накося — выкуси! Ненависть к Москве и ко всему тому, что с Москвой связано, проходит красной нитью сквозь всю эмоциональную историю Петра. Эту ненависть дал, конечно, Кокуй. И Кокуй же дал ответ на вопрос о дальнейших путях. Дальнейшие пути вели на Запад, а Кокуй — был его форпостом в варварской Москве. Нет Бога, кроме Запада, а Кокуй пророк его. Именно от Кокуя технические реформы Москвы наполнились эмоциональным содержанием: Москву не стоило улучшать — Москву надо было послать ко всем чертям со всем тем, что в ней находилось: с традициями, с бородами, с банями, с Церковью, с Кремлем и с прочим. Историки — даже наиболее расположенные к Петру — недоумевают: зачем, собственно понадобилось столь хулиганское отношение к Церкви, зачем понадобилось бить кнутом за бороду и русское платье («это было бы смешно, если бы не было безобразно», смущенно замечает Ключевский), зачем потребовалась борьба против бань? Никакого мало-мальски понятного политического смысла во всем этом безобразии найти, конечно, нельзя. Но все это можно понять, как чисто хулиганский протест против той моральной дисциплины, которою вовсе не хотел стеснять себя Петр, как протест против тех «общественных сдержек», которым Петр противопоставил свою «нравственную неустойчивость».   
          «Нравственная неустойчивость» — результат кокуйского воспитания, упавшего, может быть, на врожденную плодородную почву была определяющим моментом всей деятельности Петра. Такой «неустойчивости» не было даже и у Грозного — тот все-таки каялся. После случайного, «в состоянии запальчивости и раздражения», убийства своего сына Грозный чуть с ума не сошел от горя. Петр преспокойно пел на панихиде замученного пытками и потом задушенного царевича Алексея: «присутствие духа», которое указывает даже и не на «нравственную неустойчивость», а просто на полное отсутствие всяких нравственных чувств вообще. Москва о нравственных чувствах все-таки напоминала и если грешила сама, то знала, что грешила и потом каялась — даже и в лице Грозного. Петр шел по пути полного морального нигилизма, и все его поведение по отношению к Церкви, к Руси и к Москве было по самому глубокому существу своему таким же хулиганским протестом против общественного порядка, каким является и всякое хулиганство вообще. Проглядев мотив хулиганства, историки проглядели исходный пункт тех петровских безобразий, из-за которых народ окрестил преобразователя Антихри-стом.   
          Кокуй дал направление «преобразованиям». Оторвал их от их непосредственных технических целей, оторвал их от той почвы, для которой Москва, собственно, строилась, и повернул взор преобразователя на родину тех кокуйских дельцов, которые в трезвом, а еще более в пьяном виде не раз, конечно, хвастались перед Петром: «вот, де, у нас... не то, что в твоей неумытой Москве». На умытый — без бань — Запад и обратил свои взоры Петр...   
          План преобразования, если вообще можно говорить о плане, был целиком взят с запада и так, как если бы до Петра в России не существовало вообще никакого общественного порядка, административного устройства и управительного аппарата, Я не буду описывать этих преобразований; я приведу только подытоживающие выводы Ключевского и других.   
          О военной реформе я уже писал. Перейдем к административной. Результаты губернской реформы Ключевский характеризует так:   
          «В губернской реформе законодательство Петра не обнаружило ни медленно обдуманной мысли, ни быстрой созидательной сметки. Всего меньше думали о благосостоянии населения... Губернских комиссаров, служивших лишь передатчиками в сношениях сената с губернаторами и совсем неповинных в денежных недосылках, били на правеже дважды в неделю»... (стр. 168).   
          «Губернская реформа опустошила или расстроила центральное приказное управление... Создалось редкое по конструкции государство, состоявшее из восьми обширных сатрапий (подчеркнуто мной  — И. С.), ничем не объединявшихся в столице, да и самой столицы не существовало: Москва перестала быть ею, Петербург еще не успел стать. Объединял области центр не географический, а личный и передвижной: блуждавший по радиусам и перифериям сам государь».   
          Государь блуждал не только по радиусам и перифериям — он пропадал заграницей. П. Милюков делает весьма тщательный подсчет заграничным вояжам Петра, из этого подсчета выясняется, что в столицах Петр бывал только случайно, наездом или проездом. «Личный центр при тогдашних способах передвижения и связи отсутствовал почти вовсе. Губернская реформа разрушила старый аппарат, но нового собственно не создала. Наследием этой основной административной реформы жили и преемники Петра: «преобразовательные неудачи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни. Правительственные ошибки, повторяясь, превратятся в технические навыки, в дурные привычки последующих правителей, — те и другие будут потом признаны священными заветами преобразователя» (Ключевский).   
          Финансовая реформа разорила страну. Преобразованный правительственный аппарат разворовывал около двух третей поступавших средств. Петр же, опять по Ключевскому, «понимал народную экономию по-своему: чем больше колотить овец, тем больше шерсти должно дать овечье стадо». Положение «овечьего стада» дошло до того, что в Москве, например, уже не могли покупать соль — «многие ели без соли, цынжали и умирали». На обывателя и крестьянина была по выражению Ключевского — устроена «генеральная облава» и «можно только недоумевать, откуда только брались у крестьян деньги для таких платежей». В результате петровский наркомфин доносил преобразователю: «тех подушных денег по окладам собрать сполна никоим образом невозможно, а именно за всеконечной крестьянской скудостью и за сущею пустотой». «Это был — добавляет Ключевский — как бы посмертный аттестат, выданный Петру за его подушную подать главным финансовым управлением».   
          Эту «всконечную скудость» можно было, конечно, объяснить и военными расходами. Но можно объяснить и иначе. Ключевский перечисляет кое-какие расходы хотя далеко не все: были опустошены леса Лифляндии и Эстляндии для стройки порта Ревеля, и миллионы бревен были брошены, был заброшен и проект стройки. «Ценное дубье для Балтийского флота — иное бревно ценилось в тогдашних рублей в сто — целыми горами валялось по берегам и островам Ладожского озера, потому что Петр блуждал в это время по Германии, Дании, Франции, устрояя мекленбургские дела». Были брошены «страшно дорогие» азовское и таганрогское сооружения, а число погибших в одном Таганроге рабочих исчисляли сотнями тысяч. Была брошена новая дорога Петербург — Москва, положили 120 верст и потом бросили. В Нарве сгнило по тем же причинам колоссальное количество конской сбруи. Были вырублены, брошены и сгнили леса Воронежской губернии, а Азовский флот частью сгнил, частью отдан туркам. После смерти Петра осталось 16.000 орудий. Это выходит приблизительно по одному орудию на десять человек наличного вооруженного состава армии — пропорция, совершенно несуразная; пушки строили безо всякого расчета. Тысячи «инспецов» торчали и получали деньги безо всякого толку, ибо то не было сырья, то не было рынка. Огромные деньги ушли на всяческие субсидии всяческим союзникам Петра.   
          Однако, самым любимым детищем, детской игрушкой и барской затеей Петра был флот. Напомню то, о чем я говорил выше. После Петра мы иногда имели хорошие корабли, почти всегда имели прекрасных моряков, но никогда не имели приличного флота — ни военного, ни торгового: флот нам не был нужен. Или точнее, в таком размере, в каком он был бы нам на пользу, он был нам совершенно не под силу (проблема четырех морей). Флот уже не был нужен и к концу петровского царствования, если допустить, что он был нужен раньше. Швеция была разбита на суше. Даже морские победы Петра носят такой же сухопутный характер, как носили и победы Рима над Карфагеном. Римляне взяли верх на море только тогда, когда изобретением абордажных мостиков перенесли на море методы сухопутной войны. Шведский флот был разбит русскими галерами и русской пехотой, шедшей на абордаж. А парусная премудрость тут была не при чем — в особенности в шхерах, где только и остался что абордаж. Прибалтика была завоевана сухопутной армией. Карл Двенадцатый погиб, Швеция надорвалась и сошла с арены. Против кого нужен был нам Балтийский флот? Против Дании и Англии? С Данией мы не воевали, а Англия все равно была не под силу. Единственная роль, которая могла бы принадлежать флоту и которую он сыграл в войну 1914 — 18 г. г., это флот береговой обороны — да и то против противника, с которым мы ведем одновременно сухопутную войну, как это было с Германией, — флот для предупреждения десантных операций противника. Но ни Швеция, ни Дания, ни тем более Англия десантными операциями нам никакими не угрожали, и послепетровский флот гнил просто по своей ненужности.   
          Но в эту ненужность были брошены чудовищные по тем временам суммы. Это для флота строились парусинные, канатные, якорные и прочие фабрики, которые после Петра заглохли по простой своей ненадобности. Вся флотская затея была прежде всего затеей совершенно бесхозяйственной. И тот же Ключевский, перечисляя бесконечные протори и убытки петровского хозяйничанья, приводит хозяйственные характеристики Петра, полностью исключавшие друг друга. В одной сказано: «Петр был крайне бережливый хозяин, зорким взглядом вникавший в каждую мелочь». В другой: «Петр слыл правителем, который раз что задумает, не пожалеет ни денег, ни жизней», характеристика, явно несовместимая ни с бережливостью, ни вообще с какими бы то ни было хозяйскими данными.   
          Однако, самой кардинальной реформой Петра, которую историки обходят старательным молчанием и о которой, правда, только мельком говорит советская «История СССР», был его указ 1714 г., так называемый указ о единонаследии. О том, как безграмотно и бестолково и противоречиво был он средактирован, я уже приводил определение Ключевского. О том, что из «единонаследия» ничего не вышло, пишут все историки. Но обходится сторонкой тот вопрос, что благодаря этому указу «огромный фонд поместных земель окончательно сделался собственностью дворянства» («История СССР, стр. 665).   
          Напомню, что по московскому законодательству поместное владение было владением государственным, и дворянство владело поместьями лишь постольку, поскольку оно за счет поместных доходов несло определенную государственную службу. Это не была собственность. Это была заработная плата. Академик Шмурло пишет (стр. 294): «Служилый человек в московском государстве служил, его положение определялось обязанностями, отнюдь не правами». После Петра у дворянства остаются только права. Первый, но решающий шаг в этом направлении сделал петровский указ, превративший государственные имения в частные и государственно-обязанных крестьян — в частную собственность. Дальнейшее законодательство времен порнократии только зафиксировало фактически создавшееся положение дел. И недаром дворянство именовало этот указ «изящнейшим благодеянием», оно в массе лучше оценивало те «следствия», которых никак не мог сообразить сам Петр. «В результате область крепостного права значительно расширилась, и здесь совершился целый переворот (подчеркнуто мной,  — И. С.) только отрицательного свойства» (Ключевский).   
          Теоретик нашего монархизма Лев Тихомиров считает Петра гениальным человеком. «Представляя себе все ошибки Петра Великого, я глубоко почитаю его гений и нахожу, что он не в частностях, а по существу делал в свое время именно то, что было нужно» (том 2, стр. 101).   
          Оставим частности. Посмотрим, что говорит тот же Тихомиров о вещах более серьезных, чем частности. О реформе вообще:   
          «Петр стремился организовать самоуправление на шведский лад и с полнейшим презрением к своему родному не воспользовался общинным бытом, представлявшим все данные к самоуправлению ... Исключительный бюрократизм разных видов и полное отстранение нации от всякого присутствия в государственных делах делают из якобы «совершенных» петровских учреждений нечто в высшей степени регрессивное, стоящее по идее и вредным последствиям бесконечно ниже московских управительных учреждений» (Л. Тихомиров).   
          «Учреждения Петра были фатальны для России и были бы еще вреднее, если бы оказались технически хороши. К счастью в том виде, в каком их создал Петр, они оказались неспособными к сильному действию».   
          Гениальный преобразователь, учреждения которого оказались не только никуда не годными, но даже и фатальными, — как это совместить? Даже в мелочах? Не стоит говорить о мелких противоречиях: если учреждения оказались фатальными, то совершенно очевидно, что они были способными к «сильному действию», иначе бы никаких фатальных результатов не последовало. Они действовали очень сильно и главным образом благодаря тому, что были как раз по пути нарождавшейся дворянской диктатуре. Но Тихомиров идет и дальше:   
          «Монархия (при Петре.  — И. С.) уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа» (стр. 112).   
          Значит, если Петр в числе всего прочего не разрушил и монархии, то и этот благополучный результат был достигнут только потому, что народ отгородился в своем сознании и от приказов Петра и от его понимания существа русской монархии. Согласитесь сами, что вопрос монархии уже никак нельзя отнести к числу таких частностей, как кости таганрогских или петербургских строителей или, как леса Воронежа и Прибалтики. Нельзя считать частностью и вопрос о Церкви а тот же Тихомиров пишет:   
          «За первое десятилетие, после учреждения Синода, большая часть русских епископов побывала в тюрьмах, была расстригаема, бита кнутом и прочее. В истории Константинопольской церкви, после турецкого завоевания, мы не находим ни одного периода такого разгрома епископов и такого бесцеремонного отношения к церковному имуществу» (Том 2, стр. 111). (*Тихомиров прибавляет, что данные об этом петровском, не турецком, разгроме он сам проверял по первоисточникам.* — И.С.)   
          Ключевский сравнивает поведение 126 полков с худшими временами Батыя. Тихомиров говорит, что греческой церкви при турках было лучше. Ключевский говорит, что «под высоким покровительством сената казнокрадство и взяточничество достигли размеров никогда небывалых прежде — разве только после». Тихомиров говорит, что «монархия уцелела только благодаря народу и вопреки Петру». Все историки, приводя «частности», перечисляют вопиющие примеры безалаберности, бесхозяйственности, беспощадности, великого разорения и весьма скромных успехов и в результате сложения бесконечных минусов, грязи и крови получается портрет этакого «национального гения». Думаю, что столь странного арифметического действия во всей мировой литературе не было еще никогда. Заканчивая обзор петровских деяний, Ключевский дает окончательный штрих:   
          «Созданные из другого склада понятия и нравов, новые учреждения не находили себе сродной почвы в атмосфере произвола и насилия. Разбоями низ отвечал на произвол верха: это была молчаливая круговая порука беззакония и неспособности здесь и безрасчетного отчаяния там. Внушительным законодательным фасадом прикрывалась общее безнародье».   
          Петр оставил после себя выигранную Северную войну, расходы которой не стоили «пяти Швеции», и оставил на целое столетие потерянные возможности на юге (Прутский поход, сдача Азова и флота). Он оставил разоренную страну, отвечавшую на произвол «и неслыханное дотоле воровство» «птенцов гнезда петрова» «безрасчетным отчаянием и разбоем». Он — вопреки Тихомирову — все-таки подорвал и монархию: вчерашняя уличная девка на престоле была так же невозможна в Москве, как невозможно было дальнейшее столетие порнократии. Он подорвал Церковь. Он подорвал престолонаследие. И после всего этого историки говорят о «частных ошибках». Эти «частные ошибки» мы с вами и расхлебываем до сих пор — третьим интернационалом, террором и голодом, законными наследниками деяний великого Петра.

ПОБЕДИТЕЛИ В ПЕТРОВСКОЙ РЕФОРМЕ

          Итак, если опереться на ряд частных и разрозненных показаний наших историков, то вообще содержание всей петровской реформы можно уложить в такую, примерно, формулировку:   
          Продолжено несколько более удачно техническое перевооружение страны. Разгромлен весь правительственный аппарат Москвы, опиравшийся на русское самоуправление, и заменен бюрократическим аппаратом инородцев.   
          Разгромлено патриаршество, замененное синодом.   
          Разгромлено купечество, замененное «кумпанствами».   
          Разгромлено крестьянство, попавшее в собственность дворянству.   
          Выиграло только дворянство: указом о единонаследии оно получило в свое распоряжение государственную землю и государственное крестьянство; указом о замещении престола оно получило в свое распоряжение престол. Дворянство и является тем социальным слоем, который, во-первых, прятался за судорожной тенью Петра и который, во-вторых, ставил этой тени литературные и другие памятники.   
          Курсы русской истории оставляют эту сторону «переворота» несколько в тени. Ключевский туманно упоминает, что «при Петре московское дворянство должно было (?  — И. С.) стать главным туземным орудием реформы». П. Милюков уже в эмиграции («На чужой стороне» № X, Прага 1925 г.) проговаривается столь же туманно:   
          «С Петром нас связывает живое чувство родства и общности идей... Сознательно или бессознательно, на стороне петровской реформы стояло, конечно, большинство образованного класса, совпадавшего до середины XIX века с классом дворянским» (подчеркнуто мною. И. Солоневич).   
          Милюков ставит знак равенства между образованным классом и классом дворянским и снова делает передержку: дворянство и образованность, действительно, были синонимами ОТ Петра ДО середины XIX века, когда в дворянскую массу вклинились первые отряды «разночинцев». Но дворянство и образованность не были синонимами ДО Петра. Носителями образованности ДО Петра было и духовенство, и купечество. Духовенство вело, так сказать, гуманитарную часть этой образованности; купечество — техническую. Строгановы и Демидовы, строившие первые русские заводы, были, конечно, представителями технической культуры. Купец Никитин, добравшийся до Индии и написавший книгу о своем путешествии, не имел среди дворянства никаких конкурентов. Купцы, организовавшие свои представительства и в Стокгольме, и в Ганзейских городах, и в Лондоне, посылавшие своих приказчиков вплоть до Китая и своих землепроходцев вплоть до Камчатки, играли у нас ту же роль, какую в Западной Европе играли Васко-де-Гама, Магеллан, Колумб и прочие. Реформы Петра означали, в частности, ликвидацию всей культуры русского духовенства и русского купечества. Религиозная мысль России, придавленная полупротестантским синодом, застряла на протестантском богословии и на синодской канцелярщине, а купечество появилось на общественных подмостках только в качестве героев Островского, пока Ленин не добил его окончательно. Но московское купечество было носителем не только технических, географических или коммерческих знаний: оно строило и русскую художественную культуру. Советская «История СССР» (стр. 539) говорит:   
          «Памятниками купеческого строительства являются поразительные по своей художественной цельности церкви Ярославля, Вологды, Устюга, Сольвычегодска и прочее... Церковь Грузинской Божией Матери в Москве, построенная купцом Скрипиным, Воскресенский монастырь, поразительный по грандиозности и смелости замысла и по фантастическому разнообразию деталей, Коломенский дворец — первая попытка применить к большой постройке чисто народный стиль...»   
          Это все строила купеческая Русь. Она же организовывала русскую иконопись — иконы рублевских и строгановских писем, которые современная западноевропейская художественная критика считает высшим достижением русской живописи вообще и за которые сейчас в Америке платят совершенно сумасшедшие деньги. С Петром все это было кончено. Русский народный стиль архитектуры так и погиб в петровских казармах. Русская живопись застряла на два столетия, чтобы уже на наших глазах снова возникнуть в полотнах и фресках Васнецова, Нестерова и Врубеля.   
          По русской национальной культуре Петр и его наследники прошли батыевым нашествием — от этого нашествия русская культура не оправилась еще и сейчас. И в основе всего этого лежит петровский указ о единонаследии.   
          Напомню еще и еще раз: в Московской Руси и мужик и дворянин были равно обязанными слоями: «крепостной человек служил своему помещику, — говорит академик Шмурло. — с тем, чтобы дать ему возможность отправлять службу, так что — перестанет служить помещик, должны быть освобождены от обязанностей к нему и крестьяне. Этот взгляд глубоко вкоренился в сознание народное, и когда впоследствии помещики и дворяне стали действительно освобождаться от военной повинности, то крестьяне с полным основанием требовали, чтобы освободили и их, но не от рекрутчины, а от крепостничества». Отметим еще и еще раз принципиальную противоположность исходных точек западноевропейского и московского крепостного права. На Западе мужик был порабощен вовсе не во имя каких бы то ни было общих интересов какого-нибудь киевского, дармштадтского, веронского или клюнийского уезда. Он был закрепощен потому, что он был завоеван. Он рассматривался прежде всего как военная добыча. Идеологи монархической реставрации во Франции времен Наполеона ставили вопрос со всей откровенностью: мы, аристократия и дворянство, — другая раса, другой народ. Теоретик буржуазной революции Тьер отвечал им, примерно, теми же доводами: да, мы — третье сословие, мы — другая раса, раса побежденных, а французская революция была восстанием побежденных против победителей. Такой точки зрения в Московской Руси не было никогда; она появилась только впоследствии, когда рюриковичи, с одной стороны, и гитлеровцы — с другой — начали разработку рюриковской легенды для идеологического прикрытия своих практических потребностей.   
          «По Уложению 1649 года, — говорит Шмурло, — крестьянин был лишен права сходить с земли, но во всем остальном он остается совершенно свободным. Закон признавал за ним право на собственность, право заниматься торговлей, заключать договоры, распоряжаться своим имуществом по завещанию».   
          Наши историки — сознательно или бессознательно — допускают очень существенную терминологическую передержку, ибо «крепостной человек», «крепостное право» и «дворянин» в Московской Руси были совсем не тем, чем они стали в петровской. Московский мужик не был ничьей личной собственностью. Он не был рабом. Он находился, примерно, в таком же положении, как в конце прошлого века находился рядовой казак. Мужик в такой же степени был подчинен своему помещику, как казак своему атаману. Казак не мог бросить свой полк, не мог сойти со своей земли, атаман мог его выпороть, — как и помещик крестьянина, — но это был порядок военно-государственной субординации, а не порядок рабства. Начало рабству положил Петр.   
          Вспомним предыдущие попытки дворянства — под предлогом стояния за Дом Пресвятой Богородицы — наложить свою лапу на власть и на мужика. Эти попытки неизменно наталкивались на единый фронт крестьянства, купечества, духовенства и посада — под водительством монархии, и дворянство отступало вспять. Петр порвал этот фронт на самом решающем его участке — на участке генерального штаба России.   
          Дворянству только и оставалось, что ринуться в этот прорыв и закрепить там свои позиции, что оно и сделало. Око назвало петровский указ «изящнейшим благодеянием» и в течение двух веков воздвигало его автору памятники — и бронзовые, и литературные, и всякие другие. Купечество, духовенство, крестьянство и посад были разгромлены, подавлены и обращены в рабство. Русская национальная культура была отброшена на века назад. Русское национальное сознание и до сих пор еще не может высвободиться из-под наследия петровско-дворянской диктатуры над Россией.   
          Петровская страсть к иноземщине носила, собственно патологический характер. П. Милюков повествует о том, как Петр стал строить Петербург:   
          «Петербург раньше строили на Петербургской стороне, но вдруг выходит решение перенести торговлю и главное поселение в Кронштадт. Снова там, по приказу царя, каждая провинция строит огромный корпус, в котором никто жить не будет и который развалится от времени. В то же время настоящий город строится между Адмиралтейством и Летним садом, где берег выше и наводнения не так опасны. Петр снова недоволен. У него новая затея. Петербург должен походить на Амстердам: улицы надо заменить каналами. Для этого приказано перенести город на самое низкое место — на Васильевский остров» («На чужой стороне», т. X).   
          Но Васильевский остров заливался наводнениями; стали строить плотины — опять же по образцу амстердамских. Из плотин ничего не вышло, ибо при тогдашней технике это была работа на десятилетия. Стройку перенесли на правый берег Невы, на то место, которое и поныне называется Новой Голландией.   
          Не имея ровно никакого представления о том, что Ключевский называет «исторической логикой» и «физиологией народной жизни», Петр не мог, да, видимо, и не пытался сообразить то обстоятельство, что Голландии деваться некуда: вся страна стоит на болоте, что, кроме того, Голландия расположена на берегу незамерзающего моря и что ее континентальная база расположена тут же за спиной, а не в 600 верстах болот и тайги. Но ни логика, ни физиология, ни география, ни климат приняты во внимание не были: «хочу, чтобы все было, как в Голландии». Даже и одежда.   
          И об этом мы, в свое время, учили в гимназиях и университетах: Петр, де, сменил неудобные старинные ферязи и прочее на удобное для работы западноевропейское одеяние. Мы, по тем временам, верили и этому объяснению — несмотря на всю его совершенно очевидную глупость. Боярская ферязь, действительно, не была приспособлена для рубки дров — так она рубки дров и не имела в виду, точно так же, как этой сферы человеческой деятельности не имеет в виду ни современный смокинг, ни фрак, ни даже пиджак. Но если вам зимой надо ехать в санях, то лучше ферязи вы и сейчас ничего не найдете. И если вы всмотритесь в стрелецкое обмундирование, то вы без особенного труда увидите, что — через 200 лет всякой ерунды с лосинами, киверами, треуголками и прочим в этом роде — русская армия конца XIX века и начала XX столетий вернулась к тем же стрельцам: штаны, сапоги, рубаха, шинель и папаха. Ибо это обмундирование соответствует русскому климату, и русским пространствам, и русской психологии. Голландские башмаки с пряжками и чулками могли быть очень красивы, но ни для русской осени, ни для русской зимы они не годятся никак: нужны сапоги или валенки. Треуголка или кивер могут быть очень живописны и могут быть практически терпимы при небольших переходах. Но если солдату нужно делать тысячи верст, то кивер с его султаном и прочими побрякушками превращается из «головного убора» в очень обременительную ношу: попробуйте вы спать в кивере или на кивере. Я не пробовал. А папаху нахлобучил на голову или подложил под голову, и великолепно... 200 лет потребовалось для того, чтобы вспомнить такую элементарную простую вещь, как стрелецкая меховая шапка.   
          Кое о чем мы не вспомнили и до сих пор. Основной торгово-промышленной организацией Москвы был «торговый дом» — семейное предприятие, рассчитанное на полное доверие связанных родством соучастников дела. Из таких «торговых домов» выросли и Строгановы и Демидовы, а в более позднюю эпоху — Рябушинские, Гучковы, Стахеевы. «Торговый дом» вырос органически из всего прошлого России, из ее крепкой семейной традиции, из того склада русской психики, которая перевела на язык семейных отношений даже и высшую государственную власть: «Царь-батюшка». На этой традиции и в наше время ездил еще «отец народов».   
          Торговые дома были разгромлены во имя «кумпанств». С русского купца драли семь шкур, а добыча переправлялась «кумпанствам» в виде концессий, субсидий, льгот и всего прочего. А еще более в виде возможностей ничем не ограниченного воровства, в области которого Алексашка Меньшиков поставил всероссийский рекорд расторопности.   
          Из «кумпанств» не вышло ничего. Милюков подсчитывает, что из сотни петровских фабрик «до Екатерины дожило только два десятка». Покровский приводит еще более мрачный подсчет: не более десяти процентов. Марксистские историки рассматривают петровскую эпоху, как результат «наступления торгового капитала» или (как Покровский) как «прорыв» торгового капитала к государственной власти. Наступление ли, прорыв ли, но, во всяком случае, после этого стратегического мероприятия русский торговый капитал почти на целое столетие вообще исчезает с поверхности русской экономической жизни: «прорыв» привел к разгрому. Этому соответствовал и разгром русской деревни. Милюков («История государственного хозяйства») приводит также цифры: средняя убыль населения в 1710 году, сравнительно с последней московской переписью, равняется 40 %. В Пошехоньи из 5356 дворов от рекрутчины и казенных работ запустел 1551 двор и от побегов — 1366». Документ 1726 года, то есть сейчас же после смерти Петра, подписанный «верховниками», говорит:   
          «После переписи многие крестьяне, которые могли работой своей доставить деньги померли, в рекруты взяты, и разбежались, а которые могут ныне работою своей получать деньги на государственную подать, таких осталось малое число».   
          Словом, разгромлено было все, по-батыевски. И было бы, конечно преувеличением взваливать всю вину на Петра: он просто оказался самым слабым пунктом общего национального фронта — и в прорыв бросилось дворянство, а никак уж не «торговый капитал», и именно дворянство закрепило не только новые социальные отношения, но и тот духовный перелом, который характеризует петровскую эпоху больше, чем что бы то ни было дру-гое.

ПРОРЫВ НА ФРОНТЕ ДУХА

          Заводы и флот, регулярная армия и техника — все это было не ново и в Москве. То принципиально новое, что внес с собою Петр, сводилось к принципиальному подчинению всего русского всему иностранному. «Философия» Петра — поскольку можно говорить о его философии — была взята напрокат у Лейбница, который, шатаясь по дворам немецких владетельных князьков, снабжал — за сравнительно небольшие деньги — государственной мудростью владыку варварской России. Административная система была вся списана со Швеции, откуда, — за уже гораздо большие деньги — приглашались инспецы-инструктора, ни слова не говорившие по-русски и о русских отношениях не имевшие уже абсолютно никакого понятия. В военной администрации — победитель шведов Шереметьев был выброшен вон во имя побежденного перебежчика Шлиппенбаха — о де Круа я уже не говорю. Церковное управление было перестроено по протестантскому образцу.   
          А. Павлов в своем «Курсе русского церковного права» говорит прямо:   
          «Взгляд Петра Великого на Церковь... образовался под влиянием протестантской канонической системы...» Была даже введена и инквизиция, из которой, впрочем, ничего не вышло. Резали полы кафтанов, вырывали «с кровью» бороды, закрывали бани — вообще, объявили войну всем внутренним и внешним национальным признакам России. Россия была объявлена «вторым сортом», — первым были Шлиппенбахи, де Круа, Лефорты, Остерманы и вообще «Европа». Русское национальное сознание было принижено так, как при Батые и при Ленине.   
          Как могла произойти эта измена, нации и как она могла продержаться до наших дней?   
          Петр не только «прорубил окно в Европу», он также продавил дыру в русском общенациональном фронте. Дворянство устремилось в эту дыру, захватило власть над страной, и, конечно, для него было необходимо отделить себя от страны не только политическими и экономическими привилегиями, но и всем культурным обликом: мы — победители, не такие, как вы — побежденные.   
          Сама идея захвата власти была взята с Запада. Недаром при Петре появляется совершенно новый для Руси термин: благородное шляхетство. И если на западе «шляхта» была отделена от «быдла» целой коллекцией самых разнообразных культурно-бытовых «пропастей» — то такие же пропасти надо было вырыть между победителями и побежденными новой после-петровской России. Если вместо прежнего поместного владельца и тяглого крестьянина, на разных служебных ступенях несущих одинаковую государственную службу, возникли шляхтичи, с одной стороны, и раб — с другой стороны, то логически было необходимо отделить шляхтича от раба всеми технически доступными способами и внешнего и внутреннего отличия. Нужно было создать иной костюм, иные развлечения, иное миросозерцание и по мере возможности даже и иной язык. Всякая общность, и внутренняя, и внешняя, затрудняла бы реализацию новых отношений. Дворянская фуражка с красным околышем, которую мне случалось видеть даже и в эмиграции была в последние десятилетия последним остатком петровских завоеваний. Все потеряно: поместья, чины, молодость и Россия; сидит человек на церковной паперти и продает газеты. Человек совсем уже стар и не совсем все-таки трезв. Его коммерческое предприятие очень уже похоже на подаяние: покупатели норовят не взять мелкой сдачи, купить ненужную газету: жалко старичка. Но на дворянской голове красуется, все-таки, дворянская фуражка: последнее, самое последнее, что еще осталось от прекрасных дней диктатуры его сословия.   
          Пример этого старичка, впрочем, не совсем исчерпывает дворянскую проблему сегодняшнего дня: есть еще в эмиграции собрания дворян тамбовской, а также и прочих губерний. Есть и другие вещи: мой добрый приятель, русский юноша необычайной одаренности, носивший очень известное в эмиграции имя — вообще, «жених, что надо» — получил отказ ввиду его недворянского происхождения. Семья проектировавшейся невесты сидела уже давно «на дне», не на таком, как старичок с газетами, но очень близко к газетам: мелкое и неумелое ремесло, подаяние эмигрантских организаций, и не было даже надежды на переворот, который возвратит потерянные именья, — обычная и единственная надежда этого слоя людей, — ибо имений не было уже и в России. Но дворянское классовое сознание мощно подавляло все очевидности нынешнего и будущего «экономического» бытия...   
          Это происходило в эмиграции и почти в середине XX века. Можно себе представить, что происходило в Тамбовской губернии и в середине восемнадцатого века. Петр, с его «окном в Европу» и в шляхетство, свалился как манна небесная, на одержимое похотью власти дворянское сословие. Едва ли можно предполагать, что дворянство сразу сообразило все вытекающие из Петра последствия: «великий преобразователь», как и все русские цари, дворянство недолюбливал очень сильно и считал его сословием лодырей и тунеядцев. Но он не соображал, что именно он делал, и дворянство едва ли сразу сообразило, какие из всего этого могут проистечь выгоды. Перед самой смертью Петр начал, наконец, по-видимому, что-то, все-таки, соображать — отсюда, кроме болезни, и отчаянное настроение преобразователя. К этому же моменту сообразило обстановку и дворянство: прежде всего надо убрать монархию. Все остальное пошло, более или менее, автоматически. Вам нужен иной костюм, чтобы даже по внешности отгородиться от раба, — вот вам голландский кафтан с чужого плеча. Вам нужны иные развлечения — вот вам ассамблеи. Вам нужно иное мировоззрение — вот вам Лейбниц, Пуфендорф, Шеллинг и Гегель. Вам нужен иной язык — вот, вам, пожалуйста, раньше голландский, а потом французский. Вам нужно иное искусство — вот вам, пожалуйста, Растрелли, вместо Рублева, и Ватто — вместо иконописи.   
          Я этим не хочу сказать, что Лейбниц, ассамблеи, французский язык, Растрелли или Ватто плохи сами по себе: Лейбниц, говорят, истинно великий философ, французский язык — очень богатый язык, и Растрелли, конечно, выдающийся зодчий. Но все дело в том, что ни Лейбниц, ни Растрелли, ни все прочие были для России совершенно не нужны, и что они были использованы только для стройки проволочных заграждений между «первенствующим сословием» и всеми теми, кто остался вне первенствующих рядов. Пресловутая «пропасть между народом и интеллигенцией» была вырыта именно на этом участке: мужик молился на иконы рублевских писем и считал Ватто барским баловством — и был, конечно, совершенно прав. Мужик верил и верит и в Бога и в Россию, а не в Лейбница и Гегеля и тоже, конечно, совершенно прав. Сейчас это можно констатировать с абсолютной очевидностью: когда России пришлось плохо, то даже Сталин ухватился не за Гегеля и Маркса, а за Церковь, за Святую Русь, и даже за Святого Благоверного Князя Александра Невского. Вот они и вывезли.   
          Потери русской культуры были чудовищны. Подсчитать их мы не сможем никогда. В стройке национальной культуры наступил двухвековой застой. То, что было создано дворянством — оказалось в большинстве случаев народу и ненужным, и чуждым. Но, — как и при всех революциях в мире — мы видим то, что осталось, ТО, что все-таки выросло, и не видим ТОГО, что погибло. Мы видим Ломоносовых, которым удалось проскочить, видим Шевченко или Кольцова, которые проскочили изуродованными, и мы не видим и не можем видеть тех, кто так и не смог проскочить. Мы видим растреллиевские дворцы, но тот русский стиль зодчества, который в Московской Руси дал такие «поразительные» образцы, заглох и до сего времени. Заглохла русская иконопись. (*Не забудем, что по тем временам почти вся живопись была иконописью: и Рафаэль, и да-Винчи, и Микель Анджело были прежде всего иконописцами.* — И.С.)   
          Заглох русский бытовой роман — даже русский язык стал глохнуть, ибо тот образованный слой, который должен был создавать русскую литературную речь, лет полтораста не только говорил, но и думал по-французски. Заглохло великолепное ремесло Московской Руси, заглохла даже и петровская промышленность с тем, чтобы двести лет спустя появиться вновь и вновь — на базе ликвидации мужика, как класса, на базе превращения его в раба... Боюсь, что сталинская крепостная промышленность удержится еще меньше, чем крепостная петровская...   
          Рецепция, принятие иностранной культуры, была необходима не для того, чтобы поднять или спасти Россию — она в этом не нуждалась, — а для того, чтобы дворянство могло отгородиться от всех носителей русской культуры: от купечества, духовенства и крестьянства. Оно и отгородилось. И уже совсем погибая, переживая последние дни своей политической и еще больше экономической гегемонии, находясь, «как класс», в совсем предсмертных конвульсиях, оно, сознательно или бессознательно, все еще старается напялить на нас немецкий кафтан. И в этом отношении ленинский Маркс только повторяет петровского Лейбница.

**ВЫВОДЫ**

          Вот вам фактическая сводка того, что было совершено Великим Петром и чем Россия заплатила за эти свершения. Я — не историк. Я не производил никаких новых архивных изысканий, не оперировал неизвестными — и поэтому спорными — историческими материалами. Я более или менее суммировал только те данные, которые имеются во всех элементарных курсах русской истории, которые поэтому могут считаться и общеизвестными и бесспорными. Я совершенно искренне убежден, что из этих общеизвестных и бесспорных фактов я сделал правильные — логически неизбежные — общие выводы. И что, следовательно, те выводы, которые делали наши историки — за исключением в некоторой степени Милюкова, — являются нелогичными выводами. Хорошо понимаю всю смелость такого заключения. Тем более, что настоящие трудности начинаются только теперь: как объяснить, все-таки, факт, что «дело Петра» просуществовало, с большим или меньшим успехом, все-таки, больше двухсот лет, что почти вся историческая литература считает Петра и гением, и преобразователем, и что, наконец, эту оценку разделяют столь далекие друг от друга люди, как Маркс и Пушкин, советские историки и Соловьев, Ключевский и наши нигилисты из шестидесятников — Чернышевские, Добролюбовы, Писаревы и прочие. Или — говоря несколько схематически, что в оценке Петра сходятся и дворянская реакция, и пролетарская революция...   
          Вспомним о той мысли, которая, по Ключевскому, «инстинктивной похотью» сказалась в дворянских кругах в эпоху Смутного времени, когда дворянство, — тогда служилый, а не рабовладельческий класс, — попыталось «завоевать Россию для себя» и «под предлогом стояния за Дом Пресвятой Богородицы и за православную веру провозгласило себя владыкой родной земли».   
          Эта «похоть», в той или иной степени, всегда свойственна всякому правящему слою всякой страны. В до-романовской Москве эту похоть пыталось реализовать потомство удельных князей и было разгромлено Грозным. В Смутное время, после разгрома княжат — и после совсем уже неудачной попытки Шуйского восстановить власть аристократической верхушки, — к захвату власти шло рядовое дворянство, которое, по тогдашним временам могло называться, если и не совсем демократией, то, во всяком случае, «третьим сословием» так сказать, тогдашней интеллигенцией. Смутное время закрепило приблизительно тот перелом, который связан во Франции с Великой французской революцией: ушла старинная родовая аристократия, пришло деловое и служилое «третье сословие». Но дальше параллель кончается: во Фракции возник цесаризм, закончившийся республикой, и республика в окончательной (пока) форме закрепила завоевания «третьего сословия» — буржуазии. Эти завоевания оспаривает теперь четвертое сословие — пролетариат.   
          В Москве ни с цезаризмом, ни с вождизмом ничего не вышло. Ни Лже-Димитрий, ни Шуйский удержаться не смогли. Ни Ляпунов, ни Минин, ни Пожарский даже и не пробовали пытаться провозгласить себя вождями освобожденной страны. Москва спешно и деловито восстановила старинную форму монархии и, путем всяких исторических натяжек, попыталась связать новую династию не только с Рюриковичами, но и с «пресветлым корнем» Августа.   
          Новая династия сразу же утвердилась в качестве полноправной и традиционной монархии — монархии «волею Божиею», несмотря даже и на всенародное избрание.   
          Это избрание ввиду «Пресветлого корени» и всего прочего, должно было, по существу только утвердить генеалогические права шестнадцатилетнего мальчика. Ясно: избирали не за «заслуги» и не за «таланты». И вообще, не столько «избирали», ибо других кандидатов предъявлено не было, и «избирать» было не из кого, а только подтвердили «законные» права Михаила на «прадедовский» престол. Собор вернулся — повторяю, не без натяжек — к основной идее всякой монархии — к «воле Божией», вараженной в случайности рождения и не зависимой, следовательно, ни от каких человеческих домыслов. «Заслуги» вызвали бы новую неустойчивость. «Право рождения» ставило окончательную точку над всякой конкуренцией в «заслугах». Москва сразу вернулась к существу старой монархии и с чрезвычайной ревностью оберегала ее «самодержавие». Москва купечества, духовенства, черной сотни, Москва посадских людей и степенного северного Поволжья категорически восставала против всяких «конституционных» попыток верхов, как впоследствии, при Анне, восстали против них и рядовые гвардейцы. Московская Русь понимала очень хорошо, бесконечно лучше, чем понимала это Петербургская Россия, что ограничение самодержавия означает: передачу всей власти правящим верхам и, следовательно, лишение всех прав неправящих низов.   
          В самой Москве эти низы были налицо. Это они, время от времени, наводняли собою Красную Площадь, это они, время от времени, расправлялись со всякими аристократическими попытками, это они поддерживали Грозного. Было купечество, которое — так же, как и низы, — боялось «конституции». Петербургская Россия доказала, что эта боязнь была правильна: при Петербургской России купечество было согнуто в бараний рог. Боялось ограничения и духовенство. Вспомним, что писал Тихомиров о расправе с этим духовенством. Вспомним и о страшном упадке русской Церкви, от которого она не смогла оправиться и до сих пор. Боялось и крестьянство. Вспомним, что получилось с ним в XVIII веке. В Москве не было конституции. Но в Москве была традиция, выкованная веками испытаний и поддерживаемая всей массой: и города и страны. В самой Москве была часть этой массы, готовая поддержать свои интересы или дубьем, или ропотом, или тем жутким способом народного голосования, который так блестяще подметил Пушкин: «народ безмолвствует».   
          Два первых царствования новой династии были, можно сказать классической эпохой нашей монархии, повторенной в сильно измененных условиях в XIX веке. Было «едино стадо и един пастырь», но не в стиле «айн фюрер, айн Рейх», не в стиле вождизма. Ибо монархия есть единоличная власть, подчиненная традициям страны, ее вере и ее интересам, иначе говоря, власть одного лица, но без отсебятины. Вождь — тоже одно лицо, но с отсебятиной. Петр был смесью монарха с вождем — редкий пример царя с отсебятиной. Первые два Романова — Михаил и Алексей в невероятно тяжких условиях послереволюционной и послевоенной разрухи и в исключительно короткий промежуток времени успели и восстановить страну, и установить некое нормальное равновесие между слоями и классами народа — указать каждому его место и его тягло. По историческим условиям тягло преобладало очень сильно. И в этом — как всегда в мире меняющемся и относительном равновесии — были созданы все необходимые предпосылки нормальной дальнейшей эволюции страны, до «техники передовых капиталистических стран» включительно. Но никакого ни места, ни возможности создания классовой диктатуры в Москве не было. Москва поднялась бы: купецкая — с рублем, мужицкая — с дубьем, духовная — с анафемой, и претендент в диктаторы был бы ликвидирован на корню.   
          Петр, конечно совсем не соображая, что именно он делает, — он, по-видимому, этого никогда не соображал (Ключевский вежливо говорит: «он был не охотник до досужих соображений, во всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план, он лучше соображал средства и цели, чем следствия») — не успел сообразить даже и того, что оставляет страну без наследника престола. Петр сообразил, что Санкт-Петербург может быть хорошей гаванью, но едва ли соображал, что значит высылка правительственного центра страны на полтора месяца пути по тогдашнему бездорожью. Центр оказался вынесенным куда-то в далекую болотную глушь, на гнилое чухонское болото, где вообще никого не было: ни мужиков, ни купцов, ни посадских людей, ни духовенства, ни даже аристократии. Впоследствии, еще при Петре, там появился всякий наемный — по преимуществу иностранно-чухонский — сброд, который по профессии своей, по навыкам своим, и по полному своему интернационализму повиновался тем, кто ему платит.   
          Петербург свалился на дворянство, как манна небесная. Вот именно из этого генерального штаба, созданного Петром и удаленного от неприятельских позиций Москвы: купечества, крестьянства и прочего можно было править страной в свое собственное удовольствие, в удовлетворение своей собственной похоти. Уже на другой день после смерти Петра дворянство устанавливает свою полную собственную диктатуру. На престол, вопреки и закону, и традиции, возводится вчерашняя девка, которая, конечно, ничем править не может и ничем не правит. Ее спаивают, и за нее управляет дворянство — раньше не очень оформленное, оно очень скоро консолидируется в касту, ясно сознававшую и свое положение, и свои возможности.   
          Впрочем, возможно, что и перенос царской резиденции был выдуман не Петром. В курсе профессора Филиппова, сказано — совсем мельком — следующее:   
          «Власть не господствовала над крепким, исторически сложившимся государственным слоем, а он сам держал ее в известном гармоническом (подчеркнуто профессором Филипповым) подчинении себе... Недаром поляки в Смутное время, видя плотность боярской и духовной среды, замыкавшейся около государя, считали необходимым для проведения своих планов вырвать царя из этой среды и перенести царскую резиденцию из Москвы куда-нибудь в другое место». (подчеркнуто профессором Филипповым).   
          Как видите, при Петре был просто реализован старый польский план. Царь был вырван не только из «среды», но, в сущности, и из России: тогдашний Санкт-Петербург Россией, конечно, не был. План врагов России был реализован одним из ее сословий.   
          Знало ли сословие о планах поляков? Или эта мысль пришла самостоятельно Петру? Или была внушена каким-то окружением? И почему никто против нее не протестовал? Почему после смерти Петра возвращение столицы в Москву так и не состоялось?   
          Ничего этого мы не знаем: «не учили». Не знаем и того, кто позволил пятнадцатилетнему мальчишке Петру таскаться по кабакам и публичным домам Кокуя. Петра Второго споили просто и откровенно. Но не было ли вокруг и Петра Первого людей, которые, вместо того, чтобы воспитывать его, предпочитали то ли активно толкать его в Кокуй, то ли пассивно смотреть, как он развлекается?   
          Устроив свой штаб так, как устраивается всякий генеральный штаб, — подальше от неприятельских позиций, дворянство в течение пятидесяти лет полностью наверстывает все: и свою так долго неутоленную похоть власти над родной страной, и годы своих бранных лишений и военного тягла, и, наконец, свой рабовладельческий голод. Монархия в России перестала существовать. То, что утвердилось в послепетровскую эпоху, до Павла I, до Александра I или Николая I — не было монархией. Красной Площади не было. Не было и народа, который мог бы хотя бы «безмолвствовать». Центр власти был недосягаем и недостижим, но все нити управления у этого центра остались. Аппарат был в его руках. Петр, тоже, конечно, вовсе не соображая, что он делает, разгромил строй московский — управительную машину и создал свою — новую — вот, те 126 военно-полицейских команд, от которых, по Ключевскому, России пришлось похуже, чем от Батыя. В этот аппарат были насильственно всажены обязательные иностранцы. Этот аппарат был пронизан неслыханным дотоле шпионажем, сыском и соглядатайством. Земский строй был разрушен дотла. Табель о ранге создал бюрократию — слой людей, «связанных только интересами чинопроизводства. Петр создал для будущей дворянской диктатуры во-первых, великолепную и недосягаемую для страны «операционную базу» и, во-вторых, оторванный от страны и от ее интересов аппарат вооруженного принуждения. Дворянству только и оставалось: не допустить восстановления монархии, чего оно и достигло. Во всяком случае, до Николая I, который в первый раз за сто лет показал вооруженным рабовладельцам декабризма железную руку и ежовые рукавицы самодержавия. Но справиться с этими рабовладельцами не смог даже и он.   
          Дело Петра удержалось потому, что он, разгромив традицию, опустошив столицу и разорив страну, помер, предоставив полнейший простор «классовой борьбе» в самом марксистском смысле этого слова. И военный дворянский слой, самый сильный в эту эпоху непрерывных войн, сразу сел на шею всем остальным людям страны: подчинил себе Церковь, согнул в бараний рог купечество, поработил крестьянство и сам отказался от каких бы то ни было общенациональных долгов, тягот и обязанностей. Дворянство зажило во всю свою сласть.   
          С этой точки зрения — помимо всех прочих — объясняется и полный провал петровского «парниково-казенного воспитания промышленности». Послепетровские мамаши говорили: «Зачем дворянству география?» География не нужна была: можно было нанять извозчика, он географию должен был знать. Но не была нужна и промышленность. Все, что нужно для веселой жизни, включая Растрелли и Рубенсов, можно получить в готовом виде и за крепостные деньги. Историки и исторические романисты описывают тот «вихрь наслаждений» — пиров, балов, зрелищ и пьянства, в который бросилось освобожденное от чувства долга и от необходимости работать дворянство. Дворянству, если и был нужен чугун, так только для пушек. Все остальное поставлял «Лондон щепетильный» и вообще всякие дошлые иностранцы за готовенькие русские денежки. Денежки же поставлял мужик. Для мужика же были нужны не чугунные, а ременные изделия. И все было очень хорошо. И во главе всего этого стоял петровский «парадиз», на который можно было положиться: уж он постарается не выдать, ибо, если выдаст он, то и ему придется плохо. Петербург — чиновный, дворянский Петербург — старался не выдать — до февраля 1917 года. Пришлось плохо и ему, и дворянству, но пришлось плохо и стране.   
          Вся русская историография написана дворянами. Я совсем не хочу утверждать, что Соловьев или Ключевский сознательно перевирали действительность во имя сознательно понятых кастовых интересов. Все это делается проще. Человек рождается в данной обстановке. Она ему близка и мила. Она ему родная. Ему мил выкопанный крепостными руками дедовский пруд, построенная теми же руками дедовская усадьба, воспи-тайные на том же труде семейные предания и традиции, весь тот круг мыслей, чувства, даже ощущений, который так блестяще рисовал Лей Толстой. Но ведь Лев Толстой как-никак был гением — что же требовать от более средних людей? Толстой сам признавался, что ему дорог, близок и мил только аристократический круг. И даже Стива Облонский, совершеннейший обормот и прохвост, описан так, что вы невольно заражаетесь толстовской симпатией. А когда дело доходит до мужика, — то появляется какой-то Каратаев, которого никогда ни в природе, ни в истории не существовало, мужик, который о крепостном праве и слыхом не слыхал, — этакое мягкое и пухлое изголовье для сладких дворянских сновидений о минувшем прошлом. Не мог же Толстой не понимать, что Каратаев — это бессмыслица, как не мог же Пушкин не понимать, что в Пугачевском восстании что-что, а смысл все-таки был; смысл этот был вынужден признать и Ключевский, и Тихомиров, и даже Катков. А вот для Пушкина это был просто «бессмысленный бунт». «Бессмысленный и беспощадный» — и больше ничего.   
          Соловьев — кит нашей историографии, с которого списывали все остальные историки, сравнивал петровский перелом с «бурей, очищающей воздух», затхлая, де, атмосфера Московской Руси сменилась освежающим воздухом Петербурга. Освежение? Это Остерман и Бирон, Миних и Пален — освежение? Цареубийства, сменяющиеся узурпацией, и узурпации, сменяющиеся цареубийствами, — это тоже «освежение»? Освежением является полное порабощение крестьянской массы и обращение ее в двуногий скот? Освежением является превращение служилого слоя воинов в паразитарную касту рабовладельцев? Соловьев пишет:   
          «Преобразования успешно производятся Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Александры Вторые»...   
          А почему, собственно, беда? В результате петровских «преобразований» подавляющее большинство населения страны было лишено всяких человеческих прав. В результате реформы Александра Второго оно эти права, все-таки, получило. После Петра Россия пережила почти столетие публичного дома. После Александра Второго мы переживали свой золотой век и в культуре, и в экономике. Так почему же беда? Ответа на этот вопрос вы не найдете ни у Пушкина, ни у Толстого, ни у Соловьева, а это были первые люди своего слоя. Что же говорить об его большинстве? О том большинстве, которое на постах предводителей дворянства решало уездные дела, на постах гвардейских офицеров — столичные дела и, стоя во главе колоссального и боеспособного народа, ухитрялось временами устанавливать свою диктатуру почти над всей континентальной Европой? Но что выигрывал от этого народ? Ключевский отвечает своей знаменитой фразой: «государство пухло, а народ хирел», — фраза неверная, по самому своему существу: народ «хирел» вовсе не вследствие «распухания государства». В середине XIX века крепостное крестьянство начало, наконец, физически вымирать от избытка работы и нехватки питания. И в то же время начало вымирать и дворянство: от отсутствия работы и избытка питания. Но дворянство, с «естественным сословным эгоизмом» (Ключевский) крепко держалось за свои паразитарные права. Что есть «естественный эгоизм»? Является ли право на самоубийство требованием «естественного эгоизма»?   
          Во всяком случае, та группа историков, которая выросла и воспиталась в дворянских гнездах, не могла не вспоминать с благодарностью имя человека, который стоял у истоков дворянского благополучия. Разумеется, не все дворянство, не все сто процентов стояли на столь выдержанной классовой точке зрения. Но, покидая ее, они переходили на другую и тоже классовую точку зрения — революционную. Именно здесь заключается разгадка того странного явления, что канонизация Петра характерна и для реакции, и для революции. И если вы внимательно всмотритесь в методы и реакции, и революции, то за прикрытием всяких пышных слов, за всякого рода идеологическими вывесками, предназначенными для простачков, вы найдете единую линию поведения.   
          Французская поговорка говорит: «Противоположности сходятся».   
          Реакция и революция есть по существу одно и то же: и одна и другая отбрасывают назад, иногда отбрасывают окончательно, как окончательно выбросила французский народ французская революция. И реакция, и революция есть, прежде всего, насилие, направленное против органического роста страны. Совершенно естественно, что методы насилия остаются одними и теми же: Преображенский приказ и ОГПУ, посессионные крестьяне и концентрационные лагеря, те воры, которых Петр приказывал собирать побольше, чтобы иметь гребцов для галер, и советский закон от 8 августа 1931 года, вербовавший рабов для концентрационных строек; безбожники товарища Ярославского, и всепьяннейший синод Петра, ладожский канал Петра (единственный законченный из шести начатых) и Беломорско-Балтийский канал Сталина, сталинские хлебозаготовители, и 126 петровских полков, табель о рангах у Петра и партийная книжка у Сталина, — голод, нищета, произвол сверху и разбой снизу. И та же, по Марксу, «неуязвимая» Россия — «неуязвимая» и при Петре, и при Сталине, которая чудовищными жертвами оплачивает бездарность гениев и трусость вождей. Все это, собственно говоря, одно и то же. Здесь удивительно не только сходство. Здесь удивительно то, как через двести лет могли повториться те же цели, те же методы, и — боюсь — те же результаты. И мы, современники гениальнейшего, можем оценить Петра не только по страницам Ключевского и Соловьева, а и по воспоминаниям собственной шкуры. Это, может быть, не так научно. Но это нагляднее. Как нагляден был портрет Петра Первого, висевший в кабинете Сталина.